

Г. А. Зивъ.

# ТРОЦКІЙ

— ХАРАКТЕРИСТИКА —

(По личнымъ воспоминаніямъ).



Книгоиздательство "Народоправство"  
Нью-Йоркъ  
1921

## Оглавление

Предисловие.....	4
Первое знакомство слевой Бронштейном.....	5
Первые шаги на политическом поприще.....	11
В тюрьме.....	17
Этап и ссылка.....	24
Заграницей.....	30
В Петербурге.....	34
В доме предварительного заключения.....	36
В эмиграции.....	39
Война.....	41
В Америке.....	45
Революция в России.....	55
Троцкий и большевизм.....	57
Заключение.....	63



## Предисловие.

История предлагаемой Брошюры такова: во время последнего пребывания своего в Нью-Йорке Л.Г. Дейч печатал в еврейском журнале «Цукунфт» серию статей под названием: «Евреи в русской революции». Когда я встретился с ним в Петрограде в 1917 г., он сообщил мне, что собирается присоединить к своей серии ещё статью о Троцком, и предложил мне, -как лицу, хорошо знавшему Троцкого, с 1896 г., с первых шагов его политической деятельности и почти не прекращавшему связей с ним в течение около 20 лет, - написать для него все, что я помню о Троцком из личных соприкосновений с ним. Мои встречи с Троцким и встречи Дейча с ним охватывают разные промежутки времени, и наши воспоминания должны были бы, таким образом, дополнять друг друга, и вместе покрывали бы почти весь период его политической активности. Я принял предложение Дейча, уехал к себе на юг и немедленно принялся за работу, намереваясь через короткое время выполнить обещание и послать первые главы моих воспоминаний.

Но наступили октябрьские дни 1917 г., железнодорожное движение прекратилось, и я обещания выполнить не мог. Работы я однако не прекратил.

Тем временем, по мере укрепления власти большевиков, надежда на то, что мне удастся снестись с Дейчем, и он сможет использовать мой материал, становилась все более проблематичной, пока совсем не испарилась. Я решил издать свои заметки самостоятельно. Для этого мне пришлось несколько изменить план, заполнив неизбежные пробелы некоторыми фактами, хотя достоверно известными мне, но не из личных воспоминаний. Таким образом были написаны первые одиннадцать глав. Одесса, где я в то время жил, скоро была захвачена большевиками, и о том, чтобы издать воспоминания в России, не могло быть и речи. Решив, по возвращении в Нью-Йорк, издать их здесь, я прибавил двенадцатую главу, касающуюся деятельности Троцкого по приезде в Россию в 1917 г. В этой главе я отнюдь не претендую дать полную картину деятельности Троцкого с тех пор, как он приехал в Россию и стал у власти (эта одна глава должна была бы составить почтенный том. Для этого у меня сейчас нет под рукой материала, и это совсем не входит в планы предлагаемой брошюры). Цель этой главы лишь, при помощи нескольких фактов, закончить характеристику Троцкого.

Обо всем этом я счёл нужным заранее сообщить читателю, чтобы предупредить неосновательные ожидания и отклонить возможные упреки в неполноте.

Нью-Йорк. 25 апреля 1921 г.

## Первая глава.

### Первое знакомство слевой Бронштейном.

**"Салон Франца" в Николаеве в 1896 г. — Первые встречи с реалистом Бронштейном. — Бронштейн в семье, в школе и среди друзей и революционном кружке. — Его "народничество" и борьба с марксизмом. — Неумолимая "логика" и роковая брошюра Шопенгауэра.**

С Л. Бронштейном я познакомился зимой 1896-го года. Я был тогда студентом киевского университета и приехал в Николаев на Рождественские каникулы.

В Николаеве жил тогда популярный среди радикально-социалистической молодежи Франц Швиговский, чех по национальности, садовник по профессии. Он снимал в аренду сад, при котором был жалкий полуразвалившийся домишко. В нём ютился Франц (как все его звали по имени) со своим младшим Братом, учеником реального училища.

Франц принадлежал к разряду тех радушных людей, к которым при первой встрече уже невольно питаешь глубокую симпатию и чувствуешь себя с ним так, как будто знаком и дружен с ним очень, очень давно.

Эти черты характера и радикальный образ мыслей Франца естественно привлекали к нему ту часть молодежи, которая не могла довольствоваться картами, попойками и другими подобными занятиями, единственно встречавшими одобрение царской полиции, зорко следившей за поведением молодого поколения.

Немудрено, что, при таких условиях, домик при саде Франца сделался сборным пунктом для этой молодежи, принял характер незатейливого "салона", куда, как мотыльки на огонь, собиралась радикально-социалистическая молодежь, которая, за отсутствием общественного дела, тем более охотно любила поболтать на общественные темы и вела нескончаемые горячие споры о том, возможен ли в России капитализм, суждено ли ей (России) в своём развитии пойти по пути Западной Европы, или ей уготованы особые пути, минуя злокозненный капитализм.

Сторонники первого взгляда называли себя "марксистами" и составляли то ядро, из которого впоследствии развилась социал-демократическая партия; сторонники второго взгляда называли себя "народниками" и образовали впоследствии партию социалистов-революционеров.

Собрания эти носили самый невинный характер. В них не было ничего планомерного, преднамеренного или клонящегося к "ниспровержению". Ходили туда, как в клуб, где все чувствовали себя хорошо, уютно и непринуждённо. Времяпрепровождение далеко не ограничивалось одними спорами на указанные серьёзные темы; там веселились, дурачились, встречали Новый Год и т.п.

В городе сад Франца, благодаря этим таинственным собраниям, пользовался страшной репутацией; его считали центром всяких ужаснейших

политических заговоров.

Жандармское Управление, в своей прозорливости не далеко ушедшее от среднего обывателя, тоже очень косо посматривало на этот сад и зорко за ним следило.

Брат Франца кончал реальное училище, и к нему ходил его товарищ по училищу, 18-ти летний юноша, уже тогда обращавший на себя внимание всех посещавших Франца своими выдающимися способностями и талантливостью. Этот юноша был Лева Бронштейн.

Когда я был введён в "салон" Франца, я только что прочел недавно вышедшую книгу Бельтова <sup>1</sup> "К вопросу о развитии монистического взгляда на историю", и решил, что я марксист.

Александра Соколовская, впоследствии жена Бронштейна-Троцкого, узнав, что я марксист, чрезвычайно обрадовалась, неожиданно нашедши союзника. До этого она была единственной марксисткой во всем саду, и ей на себе приходилось выносить всю тяжесть нападений со стороны всех завсегдатаев сада, начиная с самого Франца, самого старшего из всех нас (ему было лет 28-30) и кончая самым молодым — Бронштейном. Все они причисляли себя к народникам и рьяно накидывались на Соколовскую, как на марксистку. Положение Соколовской было тем более трудное, что в этих словесных схватках ей приходилось опираться почти исключительно на весьма скудную нелегальную литературу, которую было очень трудно доставать; иногда приходилось пользоваться рукописными, подчас безграмотными списками. Из легальных книг — книга П. Струве <sup>2</sup> "Критические заметки об экономическом развитии России" и вышеупомянутая книга Бельтова только что появились.

Противники же Соколовской имели к своим услугам обильную и солидную легальную литературу: Николая-она, В.В., Кареева. Михайловского и т. д. Самым смелым и решительным спорщиком был Лева Бронштейн. Заранее предвидя победу, он обдавал противника своим безжалостным сарказмом.

Ему казалось, что его устами говорит сама непреоборимая и неумолимая логика. Интонацией и всей манерой спора, он как бы говорил упрямому противнику о бесполезности борьбы против неотразимой силы железных силлогизмов.

Не надо забывать, что ему тогда было всего 18 лет, и, живя в провинциальном городе и будучи учеником реального училища, он физически не имел возможности приобрести много знаний, особенно в области социальных вопросов. В действительности, он имел знаний гораздо меньше, чем можно было бы предполагать, принимая во внимание его исключительные дарования, и гораздо меньше, чем очень многие из посетителей "салона"

---

<sup>1</sup>Бельтов — псевдоним Г. В. Плеханова, основателя русской социал-демократии.

<sup>2</sup>Один из основателей росс. соц. демокр. партии в 1898-ом году, затем отошёл от социалистов, сделался членом партии к.-д., а в последнее время был членом правительства Врангеля.

Франца, которых он с таким успехом сражал. Усидчивые кропотливые занятия для приобретения солидных знаний и обогащения своего умственного багажа, по-видимому, мало привлекали его. Он принимал самое горячее участие во всех спорах в "салоне" Франца, фактически не прочитав решительно ни одной книги, как народников, к которым он себя причислял, так и марксистов, против которых он с таким остервенением боролся.

Но, обладая блестящей памятью, он умел на лету схватывать доводы сторонников и противников, быстро ассимилировать нужное ему и тут же преподносить слушателям продукт своей талантливой импровизации, заполняя пробелы прочным цементом непобедимой "логики".

В реальном училище он, разумеется, занимал первое место. Но не потому, что он больше других занимался, или обнаруживал особенную любовь к преподаваемым там наукам, а потому, что, при своих способностях, он мог усвоить преподносимую в училище премудрость, почти не занимаясь. При этом не видно было, чтобы он питал особый интерес к наукам, преподававшимся в училище. Несмотря на свои экстраординарные дарования, он никогда не проявлял склонности сколько-нибудь расширить свои знания в какой-нибудь из наук, в которых он делал такие хорошие успехи в училище. Принимая во внимание его независимый характер, на первый взгляд трудно даже понять, почему он продолжал посещать училище. Будучи отдан в училище отцом, когда он был ещё маленьким мальчиком, он, надо полагать, продолжал посещать его по инерции, а позже потому, что, до поры до времени, училище все-таки представляло единственное поле, где он мог проявлять своё превосходство над другими. А это ему и тогда уже нужно было, как рыбе вода. Если бы возможность захватывающей революционной деятельности с открываемой ею более широкой сферой морального господства, подвернулась за год или даже за полгода до окончания училища, не может быть сомнения, что он, не задумываясь, бросил бы училище, не дожидаясь получения аттестата.

Из наук, преподававшихся в училище, одна, казалось, интересовала его больше других. Это была математика, возможно опять потому, что математика, во многих отношениях близка столь любимой им "логике". При её помощи, как и при помощи "логики", можно, не тратя времени на кропотливое и скучное приобретение реальных знаний, силою собственного ума, посредством, подчас, сложных выкладок и искусных комбинаций величин (или понятий) придти к нужной истине и убедить в ней других. Впрочем, и в области любимой логики он не прочел ничего сверх того, что полагалось по школьной программе, если не считать "Эристики" (искусство спорить) Шопенгауэра, которая как-то попала в его руки.

Это — маленькая брошюрка, состоящая из 20 или 30 кратких положений, параграфов, в которых преподаны правила, как побеждать противника в споре, независимо от того, действительно ли вы правы или нет. Шопенгауэр предупреждает читателя не забывать, что его "эристика", это не искусство доказывать истину, а искусство одерживать верх в спорах, хотя бы в ущерб

истине. Шопенгауэр не преподаёт правила, которым надо следовать при ведении спора, а скорее разоблачает приёмы, — более или менее грубые, или, более или менее тонкие, — к которым прибегают спорщики с целью победить в споре. В конце каждого такого параграфа, разоблачающего один из приёмов спора, Шопенгауэр даёт совет, как данный приём парировать. Можно себе представить, как Бронштейн обрадовался этой маленькой, но оттого отнюдь не менее ценной, брошюрке. В ней он нашёл прямо откровение. Ведь это была та "логика", которой он до этого так гордился. На немногих страницах его любимый метод получил своё "научное" обоснование и твёрдую формулировку. Искусство побеждать всякой ценой! Какие томы самых научных сочинений могут заменить эти несколько страничек?

Получив аттестат об окончании реального училища, он считал своё формальное образование совершенно законченным! Естественные в молодом человеке колебания по окончании средне-учебного заведения, сомнения, какой выбрать дальнейший путь, как строить будущую жизнь и т. п., — были совершенно чужды бурно-активному Лёве Бронштейну. Обладая нужным запасом природной "логики", он считал себя совершенно подготовленным к жизни, к тому, чтобы выявить своё "я" на широкой арене общественной деятельности, в процессе выработки новых форм жизни для всего человечества.

Психологи обыкновенно разлагают всю многообразную человеческую психику на три элемента: познание, чувство и волю.

Познание, как мы видели, у Бронштейна сводилось, главным образом, к тому, что он схватывал из нескончаемых споров, и к "логике". Что касается чувства, то, хотя я был с ним в очень близких отношениях, я не могу припомнить никаких фактов, которые указывали бы на то, что у Бронштейна были какие-нибудь склонности в какой-нибудь области изящных искусств, любовь к театру, художеству, музыке и т. п. Изящную литературу, он, конечно, читал. Обладая блестящей памятью, он любил иногда цитировать наизусть некоторые стихотворения Некрасова, но особенно он увлекался одно время Кузьмою Прутковым, любил пользоваться его "философскими" сентенциями и с наслаждением цитировал наизусть длиннейшие отрывки из его стихотворений. Если у него был любимый писатель из прозаиков, то это, пожалуй, был Щедрин, сарказм которого был, по-видимому, очень близок его сердцу. В разговорах он очень часто любил прибегать к оборотам и формам, заимствованным из того или иного сочинения Щедрина.

Но действительная индивидуальность Бронштейна не в познании и не в чувстве, а в воле. Бронштейн, как индивидуальность, весь в активности. Активно проявлять свою волю, возвышаться над всеми, быть всюду и всегда первым, — это всегда составляло основную сущность личности Бронштейна; остальные стороны его психики были только служебными надстройками и пристройками.

Так как, по обстоятельствам, времени, активность его могла сводиться и действительно сводилась исключительно к революционной деятельности, то



весьма естественно, что в ней и воплотилась вся его индивидуальность. Революция и его активное "я" совпадали. Все, что было вне революции, было вне его "я" потому не интересовало его, не существовало для него.

Рабочие его интересовали, как необходимые объекты его активности, его революционной деятельности; товарищи его интересовали, как средства, при содействии которых он проявлял свою революционную активность; он любил рабочих, любил своих товарищей по организации, потому что он любил в них самого себя.

Лев Бронштейн был сыном богатого еврейского землевладельца. Отец его, конечно, не мог не видеть, что сын обладает выдающимися способностями и, как отец, не мог не желать, чтобы сын пошёл далеко, и, конечно, не пожалел бы для этого средств, но Лева чуждался своих родителей, хотя учился, кажется, на их средства; они же, если не ошибаюсь, платили за его содержание в семье, где он жил (родители жили в своём имении, вне города); во всяком случае он жил так, что не видно было, чтобы он, когда-нибудь нуждался. Родители были для него такими же чужими, как миллионы других "буржуа" и не-революционеров. Но это не значило, что нельзя было пользоваться их средствами. "Для дела" все источники хороши, родители так же хороши, как всякие другие "буржуа". Впоследствии, когда он был совсем самостоятельным, его дочери (от первой жены, Соколовской) большей частью годами жили у его родителей, на счёте которых они содержались, или у друзей. Это освобождало его от стеснительных семейных уз и позволяло ему свободно разъезжать и заниматься "делом".

Родителей очень огорчало это его отчуждение и то, что он не позволял им обставлять его жизнь такими удобствами, как им хотелось бы. Встречаясь с Бронштейном очень часто, я всего несколько раз имел случай видеть его отца, приехавшего из имения посмотреть, как живет его блудный сын. Я не помню, имел ли я случай видеть его мать. Я знал, что у него есть брат или братья и сестры, но только одну из них, младшую, Ольгу Давидовну, я видел несколько раз. Бронштейн указывал мне на неё, как на подающую надежды<sup>3</sup>. Об остальных братьях и сёстрах, как и о родителях, он не любил говорить. Ему прямо непонятно было, как это революционер, хотя бы в отдалённой степени, мог интересоваться или считаться с интересами родителей, родственников и друзей. В проявлении самой малейшей слабости в этом отношении, он уже видел измену революции.

Александра Соколовская, как-то получила сообщение из Петербурга об аресте подруги её, с которой она состояла в интимной дружбе. В течение некоторого времени Соколовская была явно удручена этим обстоятельством. Бронштейн в беседе со мной неоднократно выражал крайнее удивление по поводу такой непонятной сентиментальности. Он мне прямо сказал, что, при

---

<sup>3</sup>Впоследствии она действительно стала революционеркой. В 1905 году я встретился с ней в Екатеринославе, где мы работали в одной революционной организации. Она производила тогда впечатление барышни с аристократическими замашками и большими претензиями. Она теперь замужем за Каменевым и занимает самостоятельный политический пост.

всём расположении ко мне, он не испытывал бы никакого чувства огорчения, если бы я был арестован; а в это время он, действительно, был очень дружен со мной. Друзей он, несомненно, любил и искренно любил, но любовь эта была такого рода, как любовь крестьянина к своей лошади, которая содействует утверждению его крестьянской индивидуальности. Он будет искренно ласкать, холить её, с радостью подвергать себя лишениям и опасности ради неё, он может даже проникнуться любовью к самой индивидуальности данной лошади, но как только она станет неспособной к труду, он, не колеблясь, без зазрения совести, пошлёт её на живодёрню.

Такого же характера была и любовь Бронштейна к друзьям; он умел быть нежным, обнимал, целовал и прямо засыпал ласками. И это было не только по отношению к лицам другого пола, где можно было бы заподозрить естественное привхождение другого, помимо дружбы, чувства, но также и по отношению к лицам одного пола. Но, когда друг оказывался бесполезным, нежное чувство моментально отпадало; он, не задумываясь, отсылал вчерашнего друга на живодёрню, проявляя иногда жестокость, которая тем более поражала, что казалась совершенно не мотивированной и ничем не вызванной.

Накануне 1897 года у Франца была вечеринка. Участвовали, понятно, все завсегдатаи "салона", в том числе и Лева Бронштейн. Незадолго перед этой вечеринкой он, в беседе с А. Соколовской, заявил, что стал марксистом. От радости Соколовская забыла даже удивиться, как это с ним произошёл такой неожиданный переворот. Она, до сих пор, как марксистка, пребывавшая в "салоне" Франца в полном одиночестве вдруг приобрела такого талантливое единомышленника. Она готова была простить ему все прежние прегрешения и обиды, и на описанной вечеринке, имевшей место вскоре после этого, была особенно нежна к своему новому союзнику.

Когда стали произносить тосты на политические темы она с особым нетерпением ждала, что скажет он.

И, о, ужас! Как только он открыл рот, не только А. Соколовская, но и все присутствовавшие прямо остолбенели. Это была не речь, а самая грубая, площадная ругань против марксизма, с трескучими проклятиями и прочими атрибутами дешёвого, но забористого ораторского искусства. Из всей обстановки и характера речи ясно было, что единственной целью этого выступления было оплевать и возможно больней уязвить А. Соколовскую, единственная вина которой состояла в том, что она была марксисткой.

Все присутствовавшие были крайне смущены. А. Соколовская, страшно растерявшаяся и бледная, немедленно покинула весёлое собрание. "Никогда, никогда не протяну руки этому мальчишке", — вся кипя от негодования, говорила она сопровождавшей её и ушедшей вместе с ней с вечеринки приятельнице.

Б., тогда близкий друг А. Соколовской и Бронштейна, услышав впоследствии об этой предательской выходке, в негодовании воскликнула: "Из него выйдет или великий герой или великий негодяй; в ту или другую сторону,

но непременно великий".

Её предсказание было поистине пророческим. Б. рассказывала потом, что не раз после этого события, Бронштейн в мыслях представлялся ей в виде разбойника, вроде Стеньки Разина.

А. Соколовская некоторое время после этого не могла равнодушно не только смотреть на Бронштейна, но даже слышать его имени.

Само собою разумеется, что указанные черты характера Бронштейна не могли ускользнуть и не ускользали от внимания его друзей, очень и очень часто испытывавших их действие на собственных спинах, но, в виду его явного превосходства над всеми и яркой одарённости, причиняемые неприятности скоро забывались, а маленькие моральные недочёты легко прощались, и дружественные отношения сохранялись ненарушенными. То же самое было и с только что описанной выходкой на новогодней вечеринке. Она скоро была забыта всеми членами "салона" Франца, и Соколовской в том числе; настолько забыта, что между нею и Бронштейном скоро возникли самые нежные чувства.

## Глава вторая.

### Первые шаги на политическом поприще.

**Неудачная попытка выступления от имени "всей интеллигенции и рабочих масс". — Бронштейн объявляет себя социал-демократом, но не марксистом. — Организация Южно-Русского Рабочего Союза. — Львов и Лассаль. — Первое выступление Бронштейна на рабочем собрании и в нелегальной печати. — Арест.**

Когда в 1897 году народнический журнал "Новое Слово" перешёл в руки марксистов и, к нашей великой радости, стал первым марксистским легальным органом, Бронштейн написал длинное мотивированное заявление в имевшейся для этой цели при общественной библиотеке книге. В этом заявлении, ссылаясь на перемену направления журнала "Новое Слово", он требовал от администрации библиотеки прекратить выпуск этого журнала или, по крайней мере, сократить число выписываемых экземпляров.

Не довольствуясь этим, Бронштейн написал в том же духе в редакцию "Русских Ведомостей" письмо, которое заканчивал таким образом: "Вся интеллигенция и рабочие массы крайне возмущены таким поворотом журнала". Н. М. Осиневич<sup>4</sup>, к которому, как народнику-единомышленнику, он обратился с предложением присоединить свою подпись к составленному им протесту, выразил естественное удивление: "Какая же это интеллигенция и рабочие массы, раз всего будет 3-4 подписи, и среди них ни одного рабочего". — "Это ничего, — не смущаясь, заметил Бронштейн, — мы напишем: имеются тысячи подписей".

Это были его первые литературно-публицистические опыты, в которых

---

<sup>4</sup>Известный теперь писатель.

юноша Лева Бронштейн в зародышевой форме проявил к признаваемой им тогда свобод печати ту нежную склонность, которая впоследствии таким пышным цветом расцвела в декретах, речах и писаниях комиссара Троцкого об этом "мелкобуржуазном предрассудке".

Как отрицательно ни относились друзья к приёмам Бронштейна в отношении политических противников, он не мог не заметить, что эти его литературные опыты имели большой успех среди них, тем более, что почти все, они были противниками марксизма. Это так его подбодрило, что он вскоре после этого написал уже целую полемическую статью против марксистов.

Эта статья привела в неописуемое восхищение не только его ближайших друзей в саду, но и редакцию одной маленькой народнической газеты в Одессе, куда он понёс своё произведение для напечатания.

При всем своём восторге, газета напечатать статью Бронштейна, однако, отказалась, боясь, что в случае, возражений со стороны марксистов, запасов знаний, как редакции, так и Бронштейна окажется недостаточно для ответа.

В январе 1897 г. я уехал в Киев. Весною, вернувшись на каникулы в Николаев, я, разумеется, немедленно возобновил свои посещения сад Франца и там опять встретил Бронштейна.

Его кипучая, активная натура, понятно не могла долго довольствоваться времяпрепровождением у Франца и холостыми, такт, сказать, спорами с марксистами и публицистическими упражнениями в узком кругу друзей. Она бурно искала выхода наружу. Ему нужна была широкая общественная деятельность. Но где было взять её в те времена, особенно в таком общественном захолустье, как Николаев?

Понятно, что он с радостью ухватился за предложение Франца организовать маленькое общество для покупки популярных, дешёвых брошюрок и распространения их, среди крестьян. Средства "общества" должны были состояться из скудных взносов самих немногочисленных членов его, вербовавшихся среди посетителей сада Франца. Организация при всем своём невинном характере (брошюры предполагались исключительно легальные), должна была, по условиям того времени, быть строго тайной.

Всё это окончательно суживало и без того не Бог весть какой широкий размах "организации" и не открывало никаких перспектив для такого человека, как Бронштейн.

Но *noblesse oblige*. Бронштейн был народником, что ещё мог он делать в Николаеве, оставаясь народником?

Это общественное крохоборство, претившее всей властной натуре Бронштейна, понятно, скоро должно было ему надоесть и надоело.

Однажды он таинственно отозвал меня в сторону и предложил принять участие в организуемом им рабочем союзе. Народничество было отброшено в сторону: по плану, эта организация должна была быть социал-демократической, хотя Бронштейн этого названия избегал, как вообще избегал затрагивать вопрос о марксизме и народничестве и предложил назвать организацию "Южно-

Русский Рабочий Союз".

Я принял его предложение. Кроме меня, он пригласил также Александру Соколовскую и Илью Соколовского, впоследствии редактора "Одесских Новостей".

Когда я вступил в организацию, я пришёл на все готовое. У Бронштейна уже были связи с рабочими, а также с революционными кружками Одессы, Екатеринослава и других городов, где возникли аналогичные кружки социал-демократического характера.

Работа была живая, интересная, и Бронштейн с присущим ему жаром отдался ей, скоро совсем забыв о своём "народничестве". Он забыл о своему недавнем заявлении в жалобной книге библиотеки; о том, что ещё так недавно, с неумолимой железной логикой (как ему казалось) неопровержимо доказывал совершенную невозможность капитализма в России, забыл свои саркастические советы нам заводить кабаки и насаждать капитализм, раз мы желаем оставаться



последовательными и логичными. Все это было предано забвению с лёгкостью прямо изумительной.

Только временами, в интимных беседах со мной, у него как-будто пробуждалось желание оправдаться передо мною в своём противоречии, и он добивался от меня признания, что можно быть социал-демократом, не будучи марксистом. Мы, четверо, очень близко сошлись, стали говорить друг другу "ты" и, вопреки элементарным правилам конспирации, в закрепление пашей дружбы, сфотографировались группой, которая потом фигурировала у жандармов в деле против

нас. Бронштейн на этой группе снят в небрежно одетой косоворотке. У меня он настоял, чтобы я оделся попроще (косоворотки у меня не было). От старых народников он перенял склонность к опрощению и всегда косо поглядывал на мои манишку и галстук; и, вообще, в моей привычке одеваться чисто и по-европейски он видел покушение на революционную чистоту. От этого "предрассудка", как и от многих других, он впоследствии более, чем излечился.

Окунувшись, как я сказал, с головой в дела организации, он с подозрением относился ко всякому, кто, как ему казалось, проявлял преданность делу не в должной мере. Будучи со мной в большой дружбе и на "ты", он, давая мне свою фотографическую карточку, сделал надпись: "Вера без дел мертва есть".

Александра Соколовская, питавшая уже тогда к нему нежные чувства, прочитав эту надпись, была очень ею смущена, неприятно шокирована и настаивала на её исправлении. Но я не согласился, и надпись осталась. Поводом к подозрению меня в измене в будущем и к предостерегающей надписи на карточке послужило мне решение, по окончании каникул, поехать в Казань

кончить университетское образование (я был на пятом курсе медицинского факультета). Если мне дорога была революция, я, по мнению Бронштейна, не должен был прерывать своей деятельности в организации, хотя бы на несколько месяцев, ради получения какого-то диплома врача.

Как Бронштейн представлял себе ход предстоящей в России революции, которой он, по-видимому, был так горячо предан, я не знаю, и он сам, я полагаю, не знал: по крайней мере, он никогда ничем не подавал повода думать, что у него имеются на этот счёт какие-нибудь взгляды или "планы". И это вполне естественно: ведь единственное значение революции для Бронштейна заключалось в активном проявлении своего "я" в его революционной длительности. Ход революции, её возможные результаты, то, что для других было "конечной целью", для Бронштейна было лишь средством для самоутверждения своей личности. С этой точки зрения он всегда был оппортунистом чистейшей воды, несмотря на всю свою неизменную крайнюю "революционность". Знаменитое изречение: "Движение, это — все, конечная цель — ничего", в известном смысле, как нельзя более, было применимо к нему. В революции его интересовала не столько сама эта революция и её ход, сколько собственная его роль в ней <sup>5</sup>.

Вот почему в нём так мирно могли уживаться народническая идеология и марксистская практика, совсем не вызывая обычной в таких случаях внутренней драмы и не требуя немедленного разрушения противоречия.

Честолюбивая мысль о выдающейся и первенствующей роли в русской революции, несомненно уже тогда обуревала его голову, и он неоднократно, с чувством большого самодовольства, сообщал мне, будто рабочие не верят, что его зовут Львовым (это было его конспиративным именем) и принимают его за Лассаля.

Должен сознаться, что рабочие мне лично никогда ничем не подавали вида, что считают Бронштейна переодетым Лассалем (кстати, умершим за 30 с лишним лет до того), да и имя это они вряд ли когда слышали. Вероятнее всего тут дело было так: он так долго носился со своей затаённой мечтой — быть русским Лассалем, — что, в конце концов, сам уверовал в неё, как в факт: *Der Wunsch war der Vater des Gedankens*.

Дела наши шли великолепно. Мы открыли непочатый угол сравнительно интеллигентных сектантов, среди которых работа наша шла чрезвычайно успешно. Не мудрено, что голова у нас всех (особенно у Бронштейна) начала немного кружиться при мысли о грандиозных перспективах, рисовавшихся перед нашими разгорячёнными взорами.

У нас было несколько рабочих, которые составляли нашу особенную гордость, и мы друг другу передавали высказанные тем или другим из них

---

<sup>5</sup>Сказанное отнюдь не следует понимать в том смысле, что Бронштейн тогда сознательно видел в революции лишь средство для собственного возвеличения, но, что в подсознательных центрах такое подчинение революции собственной личности имело место, — не может подлежать сомнению, особенно в ретроспективном свете его последующей карьеры.

фразы, как любящие родители хвастают проявлениями "гениальности" своих детей.

Раз Бронштейн с одним рабочим пошёл в читальню. Там библиотекарша для статистики, между прочим, спрашивает рабочего о его религии. "Я — рационалист", с гордостью заявил тот. Библиотекарша в недоумении, первый раз в жизни слыша о такой религии. "Что вижу — признаю, чего не вижу — не признаю", с достоинством пояснил рабочий.

Другой рабочий, тоже гордость нашей организации, послушав раза 2-3 речи о революции, написал на малороссийском языке ("украинского" тогда ещё не было) стихотворение, из которого у меня в памяти задержались следующие строки:

"Ось пришовъ пророкъ велькій,  
Марксомъ прозывався,  
Покорывъ, царизмъ винъ дыкій,  
Тай за працю взявся...."

Этот "самородок", "краса и гордость русской революции", как выразился бы теперь Троцкий, рыжий, уже не совсем молодой рабочий, потом оказался шпионом-provokатором, предавшим всю нашу организацию.

Наша группа была первой социал-демократической организацией в Николаеве. Успех нас взвинчивал, так, что мы находились в состоянии, так, сказать, хронического энтузиазма. И львиной долей этих успехов, мы несомненно были обязаны Бронштейну, неистощимая энергия, всесторонняя изобретательность и неутомимость которого не знали пределов.

Однажды Бронштейн пришёл ко мне с проектом устроить в лесу маленький митинг, на который наши рабочие должны были привести и своих друзей, ещё не приобщённых к нашей организации. Мы с Бронштейном условились, что оба произнесем речи. Зная, что агитационный багаж у нас обоих был не богат, а скудные источники у нас обоих были одни и те же, мы боялись, как бы речи наши не оказались идентичными. Поэтому, перед тем, как отправиться на митинг, мы сообщили друг другу планы наших речей. К нашей радости оказалось, что речи не совпадают.

Бронштейн первый произнёс свою речь, которая продолжалась минут десять. Когда очередь дошла до меня, я струсил и своей речи не произнёс.

Эта речь Бронштейна была его первым опытом в области ораторского искусства. Надо сознаться, что, не в пример его первым литературным выступлениям, это ораторское выступление, отнюдь не обнаруживало того мастера ораторского искусства, каким впоследствии оказался Троцкий; и его претензии на наследство Лассалья тогда были решительно преждевременны.

Эту сравнительную неудачу, пожалуй, можно объяснить тем, что у Бронштейна тут не было непосредственного осязаемого объекта, на котором он мог бы изощрять свой сарказм, свою находчивость, смелость и решительность

атаки.

Во всяком случае, фурора среди слушателей этот первый опыт Бронштейна не произвел, хотя наши рабочие знаками одобрения всячески старались подогреть пришедшую публику, которой всего было, может быть, около десятка. Возможно, что и этот незначительный размер аудитории повлиял на пылкого по натуре оратора.

Мы скоро завели гектограф, и в рабочих кварталах появилась прокламационная литература нашей собственной фабрикации. В это время к нам приехал один товарищ, очень ограниченный и невежественный, но обладавший, в известных, узких пределах, практической смёткой. Ему удалось в некоторых местах оборудовать маленькие нелегальные типографии. Он так возомнил о себе вследствие этого, что уверял, будто ему достаточно 100,000 рублей, чтобы произвести в России революцию. План его был очень прост: на 100,000 рублей он может оборудовать 1000 типографий, а этого, по его компетентному мнению, было вполне достаточно, чтобы наводнить Россию нелегальной литературой и таким образом осуществить революцию. Все это я узнал от Бронштейна, с которым приезжий гений вел таинственные переговоры.

Не знаю, как Бронштейн тогда отнёсся к плану сфабриковать революцию за 100,000 рублей путём наводнения России печатной бумагой. Его упорные попытки теперь, когда он уже находится в зрелом возрасте, ввести социализм путём наводнения страны декретами, заставляет думать, что идея приезжего изобретателя тогда глубоко засела у него в голове. Опытом лишь обнаружено, что к этой простой идее необходимо не менее простое дополнение в виде усекновения голов, неспособных должным образом воспринять эти декреты.

Как бы там ни было, но идея оборудовать маленькую типографию Бронштейну, понятно, весьма улыбалась. Вся задержка была лишь в необходимых для этого ста рублях. И мечту эту ему тогда так и не удалось осуществить.

В другой раз он. пришёл с проектом. печатать нелегальные брошюры в типографии его дяди. По обыкновению, представленный им план, был заранее детально разработан, и все мелочи и случайности тщательно предусмотрены. Он подробно узнал процедуру, которой подвергаются рукописи в типографии, проходя через цензуру, и придумал простой способ обойти её: после того, как легальная рукопись одобрена цензором, она вся удаляется, за исключением обложки и страницы с подписью цензора, и вместо неё вставляется нелегальный текст.

Ему всё это легко было, по его словам, устроить, так как, пользуясь доверием дяди, он имел свободный доступ к его типографии и без труда мог поместить там своего человека, в качестве наборщика.

Он отлично знал, что этим способом, если бы он и удался, вряд ли можно было бы воспользоваться более одного раза; во всяком случае, скорый провал его был неизбежен. И при провале, дядя его, не имевшему никакого отношения к революции и не питавшему сочувствия к революционной деятельности своего



племянника, грозило многолетнее тюремное заключение и ссылка в Сибирь с закрытием типографии и, стало быть, полным, разорением семьи. Но эти мелочи Троцкому и в голову не приходили. Проект, однако, не встретил сочувствия по причине этих именно "мелочей" и не был приведён в исполнение.

В августе 1897 года я уехал в Казань доканчивать своё университетское образование. После моего отъезда работа нашей организации продолжала расти и расширяться. Литературная деятельность Бронштейна и других, несмотря на то, что по прежнему приходилось прибегать к услугам примитивного гектографа, также быстро росла.

Неукротимая энергия Бронштейна была ключом. Он затеял выпускать газету, под названием "Наше Дело". Первый номер был выпущен в количестве 200-300 экземпляров. Несмотря на то, что газета была гектографирована, она в техническом отношении представляла верх совершенства, не только не уступая печатным изданиям подпольного происхождения, но даже превосходя их. Все статьи были написаны печатными буквами, чётко, красиво. Материал был обильно иллюстрирован картинками, очень хорошо выполненными. Так, описанная в газете стачка мясников в Париже, была иллюстрирована несколькими картинками-кариатурами, талантливо составленными самим Бронштейном. Для этих картин он просмотрел юмористические журналы за несколько лет и позаимствовал все, что хоть сколько-нибудь подходило к тексту статьи, часто комбинируя заимствованные иллюстрации, видоизменяя их и т. п.

Всю самую существенную часть технической (не говоря, само собою разумеется, о литературной) работы вынес на своих плечах Бронштейн.

Вышло всего три номера "Нашего Дела". Газета имела необычайный успех не только среди рабочих, но и во всём городе. Все говорили о "Нашем Деле". Градоначальник сам обходил мелкие мастерские для того, чтобы проверить сообщённые в "Нашем Деле" факты ужасного обращения с "учениками".

В январе 1898 года, когда 4-ый номер "Нашего Дела" был весь составлен и вполне приготовлен для гектографирования и даже отчасти отгектографирован, вся организация сверху до низу, от первого до последнего члена, была арестована. Остался на свободе один я, который в это время находился в Казани.

### **Глава третья.**

#### **В тюрьме.**

**Два года в одесской тюрьме. — Ставший надзиратель Троцкий. — Переписка с Бронштейном в тюрьме. — Внезапный поворот к марксизму. — Голодовка. — Припадок эпилепсии.**

В марте 1898 г. был арестован и я. В апреле я очутился в Одесской тюрьме, где уже находились Кронштейн и все другие, привлекавшиеся но

нашему делу. Тюрьма эта была образцовая, построенная согласно новейшим требованиям тюремоведения, в виде креста. Каждое крыло креста состояло из высокого коридора, по обе стороны которого были расположены камеры в четыре этажа. Двери каждой камеры открывались на железную галерею, идущую вдоль всего этажа. Галерея каждого этажа железной лестницей соединялась с галереей соседнего верхнего и нижнего этажа; кроме того, каждая галерея сообщалась с соответствующей галереей по другую сторону коридора при помощи железного мостика.

Внизу, в центре, где сходились все четыре крыла тюрьмы, стоял старший надзиратель тюрьмы, которому как на ладони, была видна вся тюрьма, содержащая около 1000 обитателей. Никто не мог войти в камеры или выйти из них, не будучи замеченным им. Ничто, происходящее у дверей камер или на галереях, не могло ускользнуть от его взора. Если младшие надзиратели хотели (за мзду, конечно) делать поблажки отдельным арестантам, то они могли это делать только с согласия старшего надзирателя, тоже не безвозмездно, разумеется.

В случае малейшего нарушения порядка, все надзиратели, по мановению руки старшего надзирателя, в момент могли, по лестницам и мостикам, соединяющим галереи, ринуться к требуемому стратегическому пункту.

Не только все арестанты были в почти бесконтрольной власти старшего надзирателя, но также и младшие надзиратели были в полной зависимости от него и боялись его не меньше, чем арестанты. И арестанты и надзиратели не дрожали так перед начальником тюрьмы, как перед ним. И, действительно, фактически хозяином тюрьмы был он, а не начальник.

Идя на прогулку, свидание и т. п., я каждый раз видел величественную фигуру старшего надзирателя, опирающегося на длинную саблю и орлиным взором фельдмаршала озирающего свои владения и чувствовавшего себя царьком; и, поистине, он был царьком.

Фамилия этого старшего надзирателя была — Троцкий.

Однако политические заключённые были исключены из его ведения. Режим для них был значительно более суровый, чем для уголовных. Надзор за ними был поручен двум жандармам, и тюремные надзиратели к ним совсем не допускались. Изоляция соблюдалась самая строгая. Принимались самые тщательные меры к тому, чтобы воспрепятствовать им какое-либо сношение друг с другом. Рядом со мною, в соседней камере, сидел товарищ по делу, с которым я все время перестукивался; но увидеть его мне впервые удалось лишь после того, как мы были с ним такими близкими соседями в течение года.

Тем не менее, несмотря на все эти строгости, мы всё-таки сносились друг с другом путём перестукивания и контрабандных разговоров через окна. Таким путём я узнал, что Кронштейн незадолго до своего ареста стал марксистом (действительно стал). Меня это естественно обрадовало, и мне очень хотелось повидаться с ним и побеседовать, чтобы убедиться, насколько глубок и основателен происшедший в нём переворот. Я не мог себе представить, чтобы

Бронштейн, так резко осуждавший марксизм, как низменное учение лавочников и торгашей, мог целиком и без оговорок принять эту точку зрения.

Кое-что мне удалось слышать через окно во время затевавшихся там споров. Но этого было мало для того, чтобы составить себе точное суждение; разговоры были коротки, торопливы, отрывочны и часто на самом интересном месте прерывались вмешательством жандармов.

Надо признать, что и в этих отрывочных спорах Бронштейн умудрялся обращать внимание даже посторонних (более интеллигентных уголовных) нечистоплотностью своих приёмов. Хорошо усвоив все приёмы "Эристики" Шопенгауэра, он и тут в тюрьме часто слишком явно обнаруживал, что заботится не столько о торжестве правды, сколько о том, чтобы в данный момент сразить своего противника в глазах слушателей, хотя бы путём предательской логической подножки. Он как будто боялся, что жандармы прекратят спор прежде, чем он успеет добиться нужной ему во что бы то ни стало победы. Он не мог допустить, чтобы кто-нибудь, кроме него, в его присутствии остался победителем: и все средства, ведущие к цели, были хороши.

Такое его отношение к противникам уже тогда очень возмущало меня (да и не только меня, конечно). Я старался объяснить себе это тем, что он слишком чувствовал своё превосходство, был всегда уверен в своей победе во всяком словесном турнире и был потому небрежен в выборе средств, торопясь поскорей отделаться от слабого противника, которому всё равно суждено быть сражённым.

На этой почве у нас неоднократно возникали ссоры, и мы подолгу не говорили друг с другом. Как у новообращённого, однако, у него была сильная потребность к излиянию, тем более, что больше некуда было давать выход бьющей через край жизненной энергии. И, может быть, этим надо объяснить, что он всегда первый протягивал руку примирения. Меня это всегда очень трогало, тем более, что оно так резко противоречило всему складу его властного характера.

Однажды утром я был разбужен знакомым стуком в стену: меня спешили предупредить, чтобы я, когда буду в уборной, подобрал на полу коробочку из-под спичек: там будет записка от Бронштейна.

В это время к нам ещё не пропускали никаких книг со стороны, ни газет; и письменные принадлежности запрещались. Путём невероятных ухищрений нам иногда удавалось достать маленький клочок бумаги и обгрызок карандаша. С большими предосторожностями писалась маленькая записочка микроскопическими буквами (для экономии бумаги) и самыми замысловатыми путями доставлялась адресату, часто находившемуся не дальше соседней камеры. Понятно, что очень часто корреспонденция не доходила по назначению, погибнув на одном из этапов.

Можно себе представить мою радость, когда из подобранной мною коробочки из-под спичек я извлек объёмистую записку, — целое послание,

написанное хорошо знакомым мелким, чётким почерком.

Это было настоящее литературное произведение, там более ценное, что я уже давно никакой литературы, ни писанной, ни печатной, не видал, не считая, конечно, Житий Святых и редких, проходящих строгую жандармскую цензуру и потому официальных и сухих, писем от родных.

Бронштейн, при своей кипучей деятельной натуре, стремящейся к властвованию и повелеванию, понятно, более всех нас должен был тяготиться вынужденной бездеятельностью под замком в четырёх стенах маленькой каморки, и с жадностью ухватился за подвернувшиеся случай, чтобы в литературном упражнении разрядить хоть часть накопившейся и льющей через край энергии и хоть на бумаге излить свою злобу и негодование на тех, которые так неожиданно и так жестоко прервали его деятельность, рисовавшую для него такие яркие перспективы.

А задача была для него, в этой записке, нелёгкая. Он должен был изложить в ней всю историю своего ареста, обстоятельств его сопровождавших, и свои показания на допросе у жандармов. Написать все это надо было так, чтобы дать мне полное понятие о том, как все это произошло, и, вместе с тем, не дать улики против себя, в том случае, если записка будет перехвачена. И он выполнил это мастерски. Письмо было полно искромётного сарказма, злой сатиры — блестящий памфлет.

Надо помнить, что в то время политические дела не разбирались даже тем упрощённым судебным порядком, каким они велись после 1904 года и до революции. Судебная реформа Александра II не коснулась дел политических, и они велись в дореформенном порядке. Не было ни гласности, ни публичности, ни прочих атрибутов действительного суда. Обвиняемые допрашивались жандармами, при чём им не только не предъявлялись показания их товарищей по обвинению, но и показания "свидетелей", осведомителей и прочих. Они не были субъектами судебного разбирательства, а только объектами, материалом, из которого жандармы, вместе с другими ингредиентами, стряпали более или менее стройное "дело", по которому в Петербург чиновники министерства юстиции и внутренних дел поставляли приговоры.

Тогда ещё не был в ходу, ставший впоследствии для политических заключённых обязательным, обычай отказа от показаний, и большинство обвиняемых совершенно наивно длинными показаниями всячески старались выгородить себя. Понятно, что все это было совершенно бесполезно, потому что уже фактом ареста приговор обыкновенно был предрешён.

Бронштейн, конечно, не мог этого не знать. Если же он всё-таки давал длиннейшие показания, то, я думаю, не столько для того, чтобы себя выгородить (он знал, что жандармы не верят его "1001 ночи", как они называли его показания), сколько для того, чтобы разрядить накопившуюся энергию, злобу и негодование и удовлетворить писательской потребности: хотя он сам этого, вероятнее всего, не сознавал. Как, между прочим, видно из этой первой записки, он и перед жандармами не прочь был, прибегнуть к своей

"неотразимой логике". Но первую же его попытку сойти со стези "1001 ночи" и обосновать своё alibi "по логике и здравому смыслу" допрашивавший его жандармский полковник оборвал коротким: "А по закону наоборот."

Записки посыпались ежедневно, одна за другой. Я получил написанную им частушку: "Эх, и прост же ты, рабочий человек"... и т. д. Она потом вошла в сборник революционных песен.

Всё шло гладко. И я, и Бронштейн, были очень довольны. Но с самого начала, радость наша была омрачена, особенно для Бронштейна: "переписка" была односторонняя. Так как его камера была ближе к уборной, то он выходил всегда раньше меня, и я не имел возможности воспользоваться его способом передачи письма. Если бы я оставил в уборной записку, Бронштейн мог бы подобрать её только на следующий день. За сутки её успели бы много раз подобрать уголовные или надзиратели. Невозможность получения ответов от меня, естественно очень раздражала его. Со времени обращения в марксизм, у него так много накопилось, что потребность в обмене мнениями была громадна. "Ради Бога, придумай способ отвечать мне", — нервно заканчивал он каждую записку. Мне этого хотелось не меньше, чем ему. Наконец, нам удалось придумать способ, очень простой и удобный, и дававший нам возможность беспрепятственно вести регулярную и обширную переписку.

Бронштейн, не теряя времени, предложил мне открыть дискуссию по какому-нибудь вопросу, и сам дал тему: "Роль личности в истории". Я охотно принял его предложение. Я не знал, конечно, насколько полно он воспринял теорию материалистического понимания истории. Мне не представлялось, чтобы он в такой короткий срок мог решительно порвать со своей старой точкой зрения и стать на новую, которую он, ещё так недавно, столь энергично и решительно отвергал. Самое предложение его я понял, как вполне естественное желание, при помощи дискуссии с другим лицом, получше разобраться в вопросе и самому себе точнее выяснить свою позицию. Поэтому в своём вступительном "реферате" я старался выражаться, по возможности, осторожно, избегать резких формулировок, ставить точки над "i", боясь спугнуть начинающийся поворот. Я был жестоко наказан за свою осторожность. Бронштейн, что называется, разделал меня под орех: "Вполне определённую идею о классовой борьбе, ясные и недвусмысленные положения материалистического понимания ты потопил в море недоговорённостей и неопределённостей"... и т. д., и т. д. Я прямо глазам своим не верил: Бронштейн был теперь таким же решительным и прямолинейным "марксистом", каким он раньше был его противником.

Когда и где успел он столько начитать? На свободе, за революционной работой у него для этого не было времени, а в тюрьме, кроме "Житий Святых" и "Православного Вестника" он ничего читать не мог.

Как бы там ни было, фразеологию марксистскую, он, несомненно, усвоил в совершенстве и рассуждать о роли личности, о классовой борьбе, значении производительных сил и т. п., он мог, как самый заправский марксист, и с

присущим ему талантом. Но, как только он пытался от усвоенной теории перейти к практике, к марксистскому творчеству, к применению материалистического понимания истории к живой жизни, он неизменно обнаруживал полное бессилие.

Он взялся писать о масонстве с точки зрения материалистического понимания истории. Он достал три или четыре книги по этому вопросу (это было тогда, когда к нам уже допускались кой-какие книги) и думал, что этого вполне достаточно. Понятно, что из этого ничего не могло выйти и ни вышло, и он свою затею оставил.

Однажды, он прислал мне длинное рассуждение на тему о сдельной и повременной плате. В агитационных брошюрах, — обыкновенно народнического происхождения, — велась борьба за повременную плату против сдельной). Зная, что марксисты основу общественных явлений видят в состоянии и росте производственных сил, он, в разрез с установившимися среди революционеров взглядами, бесстрашно защищал преимущество сдельной платы перед повременной: она увеличивает интенсивность, а, стало быть, и производительность труда, она даёт возможность более правильной и научной оценки заработной платы, какой достоин тот или другой рабочий и т. д. Интересы производства были разобраны им прекрасно и исчерпывающим образом. В своём увлечении, он забыл, только, что рабочий является не только материалом, обслуживающим производство, но и субъектом, интересы которого, в конце концов, это производство должно иметь в виду. Это была система Тэйлора в зародыше <sup>6</sup>.

Среди политических заключённых было несколько юношей, прямо мальчиков, которые к революции никакого отношения не имели и были арестованы только потому, что случайно были знакомы с тем или другим революционером. Таких юношей держали месяцами. Отцу одного из таких юношей жандармы заявили, что выпустить сына, если отец пообещает высечь его, как только тот вернется домой.

Это возмутило всех политических заключённых. Был поднят вопрос о всеобщей голодовке, чтобы таким путём заставить жандармов освободить юношу. Бронштейн стал во главе кампании за голодовку. Я вместе с немногими другими был против.

Сообщаться в тюрьме, конечно, не легко, а если администрация этого определённо не хочет, то и почти совсем невозможно. Понятно, что мы, противники голодовки, не могли развить своих доводов перед зелёной молодёжью, которая, не имея возможности разобраться в сущности вопроса, взвесить свои силы и предвидеть все возможные последствия, и боясь показаться трусливой, голосовала, как всегда в таких случаях бывает, за то, что

---

<sup>6</sup>Для поднятия неудержимо падающей производительности труда в промышленности, большевики, как известно, одно время очень много говорили, а также делали попытки к применению системы Тэйлора в своём "социалистическом" государстве. И в этом, как мы видим, зрелого Троцкого предвосхитил юноша — прозелит Бронштейн.

ей казалось по внешности более революционным: голодовка была принята подавляющим большинством голосов.

Но скоро, конечно, обнаружилось, что голодать не так легко, как голосовать за голодовку; и та же самая очень "революционная" молодёжь первая быстро стала отпадать, предоставив продолжать голодовку своим вождям и всем сознательным противникам её. Через три дня стало ясно, что голодовка потерпела полный крах.

Надо было искать благовидного предлога для её полного прекращения. К счастью, администрация тюрьмы очень сочувственно к нам относилась и всячески старалась помочь нам выйти из затруднительная положения. После краткого совещания, мы решили требование к жандармам об освобождении невинного юноши заменить требовавшим от тюремной администрации (заручившись заранее её согласием на это) рассадить нас по камерам, согласно представленному нами плану. Администрация, конечно, согласилась тем более охотно, что дела наши были дознанием закончены, и строгая изоляция уже теряла всякий смысл. По этому плану я с Бронштейном были посажены в соседние камеры, между которыми, как мы раньше знали, было в стене отверстие (скрытое парашей), через которое можно было свободно общаться. Когда нас таким образом рассадили, я, воспользовавшись возможностью свободно с глазу на глаз поговорить с Бронштейном через отверстие, указал ему на то, что я был прав, когда был против голодовки. Печальный результат её, казалось, доказывал это с неоспоримой очевидностью. К моему крайнему удивлению, Бронштейн не только не был обескуражен, но с чувством полного удовлетворения находил, что, несмотря на отказ от нашего ультимативного требования и на то, что юноша, из-за которого мы голодали, остался в тюрьме, мы одержали полную победу: во-первых, вся Европа будет знать об этом; во-вторых, нас рассадили, как мы желали, и т. д., и т. д.

Это было наше первое тактическое разногласие.

Вскоре нас ждала новая радость. Жандармское Управление разрешило нам общие прогулки (до этого каждый из нас совершал одиночную прогулку в течение 15-30 минут в день, в сопровождении жандарма). Перед первой общей прогулкой нас всех вместе пустили в тюремную баню. Можно себе представить, какой это был праздник для нас. Праздник этот был, однако, немного омрачён маленьким приключением: с Бронштейном случился какой-то припадок. Мы это приняли за обморок, и скоро успокоились. Впоследствии, когда Бронштейн был уже за границей, такие "обмороки" случались с ним нередко: среди речи на собрании он вдруг неожиданно падал и оставался некоторое время в бессознательном состоянии. Друзья объясняли это "слабостью сердца", хотя он, по внешности, совсем не производил впечатление больного человека, и, кроме этих "обмороков" ничем не обнаруживал физической слабости. Такой же "обморок" случился с ним на суде при разборе его дела о Совете Рабочих Депутатов в 1906 году. Из-за этого пришлось даже приостановить разбор дела и отложить его. Л. Г. Дейч, с которым Бронштейн был очень близок за границей,

сообщил мне во время своего пребывания в Нью-Йорке (1911-1916 гг.), как об известном и установленном факте, что эти припадки были эпилептические. Я лично присутствовал только при описанном припадке в одесской тюрьме. Но, судя по всей обстановке припадков и по отрицательным, в других отношениях, данным со стороны его физической конструкции, надо думать, что припадки эти происходили, действительно, на почве эпилепсии.

Многие черты его характера также невольно наталкивают на такое предположение: резко выраженный эгоизм, гипертрофированное самомнение, чрезмерное и болезненное самомнение, стремление к экстравагантности в речи, писаниях и поступках, известного рода придирчивый педантизм (пресловутая "логика"), проявляющейся даже в чётком, аккуратном почерке, и т. п.

Правда, все эти черты могут, конечно, присутствовать и у не эпилептиков. Но в психопатологии более, чем где-либо в другой области, весь вопрос — в степени.

## **Глава четвёртая.**

### **Этап и ссылка.**

**В Бутырках в 1900 г. — Брак с А. Соколовской, — "Бунт" в тюрьме. — Ссылка в Иркутскую губ. — Бронштейн-Антид-Ото в "Восточном Обозрении". — Приглашение его в редакцию женеvской "Искры".**

В ноябре 1899 года, после того, как Бронштейн и его товарищи просидели около двух лет в тюрьме, из петербургских канцелярий получились, наконец, приговоры. Бронштейн, ожидавший, по меньшей мере, заключения в кратности, был приятно изумлён, узнав, что его приговорили к четырём годам ссылки в Восточную Сибирь. Меня приговорили к трём годам ссылки туда же.

Начались сборы в дорогу, которые внесли некоторое разнообразие в нашу монотонную жизнь.

Вместе с уголовными арестантами мы этапным порядком были отправлены через Киев, Курск в Москву, в пересыльную тюрьму (Бутырки). В Бутырках нас рассадили в башнях, помещающихся в четырёх углах каменной ограды тюрьмы, — мужчин в Часовой башне, женщин в Пугачёвской. В этих башнях политические сидели подолгу, пока их не собиралось такое количество, что они составляли целую партию для отправки в Сибирь. Перед нашим приходом была отправлена такая партия. Мы были первыми в новой партии, и нам пришлось ждать около полугода. Нас было пятеро, все по одному делу: Бронштейн, И. Соколовский. (впоследствии редактор закрытой большевиками газеты "Одесские Новости"), Г. Соколовский, С. Гуревич и я. Мы все были помещены в большой круглой камере на втором этаже башни, с круглым столом посредине, придававшим ей намёк на уют и комфортабельный вид, с десятью кроватями, расположенными радиусами, и столиками возле некоторых из них,



как в больнице. Дверь камеры днём не замыкалась, так что мы свободно могли выходить в маленький дворик при башне, отгороженный высоким железным забором от остального огромного двора огромной пересыльной тюрьмы. Калитка в этом заборе всегда была заперта на замок и с нами в этой маленькой придаточной тюрьме постоянно был заперт один надзиратель. Не имея над собой постоянного надзора старших, надзиратели эти предоставляли нам довольно широки простор, и мы чувствовали себя довольно хорошо, особенно в первое время, когда мы ещё находились в медовом месяце нашего наслаждения совместным житьём, после почти двухлетнего одиночного заключения.

Ещё в Одессе, задолго до отправки в ссылку, все те, у кого были невесты или женихи, поспешили запастись разрешениями на венчание и обвенчались. Те, у кого невест не было, фиктивно обвенчались, чтобы в отдалённой ссылке не очутиться в полном одиночестве.

Бронштейн и А. Соколовская в этом отношении наткнулась на неожиданное препятствие в лице отца Бронштейна. Так как Лева был несовершеннолетним, то ему не давали разрешения на брак без согласия его отца. А отец самым решительным образом воспротивился этому браку (Соколовская была, по крайней мере, на десять лет старше Бронштейна). Лева рвал и метал, и боролся со всей энергией и упорством, на какие он был способен. Но старик был не менее упорен и, имея преимущество пребывания по ту сторону ограды, остался победителем.

По приезде в Москву, Бронштейн немедленно принялся за хлопоты о браке, и скоро добился успеха. Эта борьба на некоторое время дала пищу искавшей выхода энергии его. Жизнь скоро потекла интересно (насколько это возможно в тюрьме) и, сравнительно с Одессой, очень разнообразно. Мужчинам два раза в неделю давали свидания с женщинами на правах мужей, братьев, кузенов и т. п. Свидания давались всем сразу в одном месте, без строгого ограничения времени и с весьма слабым надзором, так что эти свидания носили характер маленьких интимных собраний близких людей, связанных узами тесной дружбы и общностью идей.

Не знаю, как наши женщины, но мужчины к свиданиям готовились очень тщательно, и всех тщательнее Бронштейн. На свиданиях он обнаруживал трогательную нежность не только к своей невесте, а потом жене А. Соколовской, но и ко всем остальным дамам, приходившим на свидание к своим мужьям, братьям и т. п. и очаровал всех их своим рыцарством. Когда дамы предложили нам прислать им наше белье для починки, Бронштейн с негодованием отверг это, как устарелый предрассудок, возлагающий на женщину неприятную работу, и сам починял своё белье.

По возвращении со свидания, весь избыток нежности он продолжал расточать нам: ласкал, целовал, обнимал и т. п.

Я уже указывал на припадки нежности в Бронштейне до ареста, в разгаре первого увлечения политической деятельностью.

Теперь, когда протекло столько времени, заполненного столькими

событиями и превращениями, каждый раз, когда я вспоминаю об этих нежностях Бронштейна, в воображении моём неизменно встаёт также фигура деспотического императора Павла I с его исключительной сентиментальностью и припадками неистоимой нежности.

А вот, что пишет Б., одна из тех женщин-товарищей, которая вместе с нами в описываемый период сидела в Бутырской пересыльной тюрьме, с которой Бронштейн встречался на описанных интимных собраниях-свиданиях, и которую он впоследствии удостоил своей дружбой: "Когда я узнала в 1906 году, что Лева арестован и сидит в Доме Предварительного Заключения, мне очень захотелось написать ему (мы не переписывались уже несколько лет), что я и сделала. Ответ не заставил себя долго ждать. Теперь, когда знаешь, во что выродился Бронштейн, когда с уст этого человека только срываются слова в роде "беспощадно расправиться", "уничтожить", "расстрелять", трудно допустить, что письмо, полученное тогда мною, писано было этим самым человеком, — столько в нём было задушевности, нежности, теплоты и ласки. Мне очень жаль, что я не сохранила этого письма. Это был несомненно интересный психологический документ.

Начиналось письмо с того, что лежал он (Бронштейн) как то в камере своей в особенно придавленном настроении <sup>7</sup>. В голову лезли самые мрачные мысли, будущее казалось таким неприглядным, на душе мрак и ужас. Вдруг надзиратель входит и подаёт моё письмо. В миг камера преобразилась, точно добрый гений ворвался с письмом. Что случилось с тоской и душевным смятением? Они уплыли куда-то вдаль; ему сделалось легко и хорошо, и опять захотелось жить и верить во всё лучшее. И так далее, и так, далее на многих., многих страницах. И столько тепла, столько ласки, нежности. Неужели Лева Бронштейн и Троцкий одно и то же лицо?.."

Пользуясь довольно широкой "автономией" в пределах нашей башни с отгороженным вместе с ней уголком двора, мы не лишены были связей и с внешним миром, откуда нам доставлялись деньги, провизия, одежда, необходимые для далёкого путешествия в Восточную Сибирь. Доставлялись нам также в обилии и книги. До нас доходили почти все новинки. К нам попала только что дошедшая до России известная книга Э. Бернштейна ("Предпосылки социализма") на немецком языке, впервые открыто обосновывавшая ревизионизм в марксизме. В нашей камере она вызвала страшное возбуждение, и мы все с жадностью ухватились за чтение. Все мы горели нетерпением убедиться, сколько правды во всём том, что мы слышали об этой ужасной книге. Книга подвергала сомнению всё, что мы, марксисты, считали непререкаемой

---

<sup>7</sup> Надо помнить, что тогда Бронштейн был арестован вместе с первым Петербургским Советом Рабочих Депутатов, где он был в то время одним из главных руководителей и вершителей. Несомненно, у него уже тогда начала кружиться голова и честолюбие рисовало ему самые увлекательные перспективы; и вдруг арест: он сидит в тесной камерке, как в клетке, а Россия молчит и не рвется вырвать на свободу своего героя. Есть от чего придти в отчаяние.

истиной. И все мы единодушно отвергли её; никаких разногласий на её счёт у нас не было. Получали мы и другие книги, недостатка в них у нас не было.

Но Бронштейн не обнаруживать большой склонности к систематическому чтению. Жажда пополнить своё образование, накопить побольше знаний, столь естественная, казалось бы, в молодом и талантливом человеке, была в значительной степени чужда Леве Бронштейну. Это тем более странно, что Бронштейн не мог не видеть, и он, действительно, прекрасно видел, что его талантливость поражает всех его окружающих и приходящих с ним в соприкосновение, но ему некогда было тратить себя на то, чтобы учиться и получать наставления: он горел нетерпением поучать других и повелевать ими. Он начал писать роман, в котором, в беллетристической форме хотел развить марксистскую точку зрения на российскую общественную действительность. Понятно, что для этого, при всём его таланте, у него не хватало ни материала, ни знания; и он скоро оставил эту затею.

Избыток энергии однако искал выхода. Ему пришла в голову идея воспользоваться тою сравнительною свободою от надзора, которою мы были окружены внутри башни для устройства там тайной типографии. Он разработал все детали, как технической постановки дела и получения нужного материала, так и доставки готовой работы в город. Он передал свой проект местной революционной организации в город.

То ли, эта затея показалась слишком фантастической, по другой ли какой причине, но она горячего отклика за оградой башни и тюрьмы не встретила и таким образом заглохла.

Время тянулось. Шли месяцы. Наша башня постепенно наполнялась новыми заключёнными, предназначенными для пополнения нашей партии, но она далеко ещё не была полна.

Состав заключённых был теперь очень разношёрстный. Пребывание в общей камере становилось все более тягостным, утомительным, и начало вредно отзываться на состоянии наших нервов. Мы, члены первоначальная кружка, обратились к начальнику тюрьмы с просьбой перевести нас в другую башню, где нет общих камер. Мы знали, что при слабости высшего надзора в башне, будучи формально в одиночных камерах (камеры там сходятся радиусами в один общий коридор), мы, освободившись от всех неудобств общей камеры, имели бы все преимущества и одиночного и общего заключения. Начальник нам отказал на том основании, что одиночное заключение пересыльным назначается только за провинности, а мы ни в чём не провинились. Сверх всякого ожидания, скоро нам представился блестящий случай провиниться. И мы, к нашему общему удовольствию, были переведены в башню с одиночными камерами.

Случилось это так.

Однажды, когда Бронштейн, я и ещё несколько человек, сидели в камере, со двора прибежал взволнованный товарищ и сообщил, что Илью Соколовского,

и ещё одного или двух, явившийся неожиданно во дворик башни начальник тюрьмы отправил в карцер за то, что они не сняли шапок при его приходе. Все всполошились. Надо было немедленно реагировать. На этот счёт спора не могло быть. Бронштейн сразу овладел положением. На фоне однообразной жизни в пределах башенки, предстоящее выступление и ожидаемое столкновение с начальником тюрьмы представлялись большим делом, и Бронштейн заранее настраивал себя на боевой лад. На коротком совещании было решено выйти во дворик всем в шапках, потребовать от надзирателя дать тревожный сигнал для вызова начальника. Шапок мы, конечно, при его приходе, не снимаем. Дальнейшее будет диктоваться обстоятельствами.

Надзиратель растерялся, дать тревожный сигнал, однако, отказался. Мы все столпились около него. Бронштейн, стоя впереди всех, вынул часы и, держа их перед собой, торжественно заявил надзирателю: "Даю две минуты на размышление". Когда срок ультиматума истек, Бронштейн, отодвинув, несопротивлявшегося надзирателя в сторону, величественным жестом надавил кнопку. Затем мы все, надвинув шапки на головы, вышли во дворик. Через короткое время щёлкнул замок железной калитки, она с шумом распахнулась, и во дворик, окружённый огромной свитой вооружённых надзирателей, влетел начальник.

"Почему шапки не снимаешь?"—заорал он, кинувшись к Бронштейну, стоявшему впереди всех и, по-видимому, имевшему наиболее вызывающий вид: "А ты почему шапки не снимаешь?" — с достоинством ответил Бронштейн. "В карцер его!"

Несколько дюжих надзирателей подхватили Бронштейна и унесли в карцер. С тем же криком начальник подбежал ко мне и другим, с теми же результатами.

В карцере мы просидели сутки, после чего нас, всех участников "бунта", перевели в башню с одиночными камерами, и мы вздохнули с облегчением: наша давнишняя мечта сбылась.

После этого мы не долго оставались в московской пересыльной тюрьме. 3-го мая 1900 года нас, наконец, отправили. Мы ехали без пересадки до Иркутска в отдельном вагоне. Конвой обращался с нами хорошо, и это путешествие было довольно приятным. Оно продолжалось 13 дней, нас из вагона все время не выпускали, и к нам никого не впускали. Бронштейн, однако, ни к чему не обнаруживал никакого интереса. Он весь был поглощён А. Соколовской.

Мы прибыли в Иркутск. Там в тюрьме я провел неделю вместе с Бронштейном и другими товарищами. Затем мы расстались: нас разослали в разные места. Бронштейна я, однако, не потерял из виду. Связь между нами поддерживалась перепиской; хотя надо сознаться, поддерживалась она не очень деятельно, а потом и совсем прекратилась: не было реальных связей и общих захватывающих интересов.

За то я имел возможность следить за ним по печати. В Иркутске выходила

прогрессивная газета "Восточное Обозрение", которую читали все ссыльные, и в которой почти все они сотрудничали (присылая корреспонденции о местной жизни, часто содержавшие очень интересный и ценный этнографический материал).

Такой человек, как Бронштейн, не мог не обратить на себя внимания, и редакция скоро заключила с ним лестно-выгодный для него, по условиям того времени, договор о сотрудничестве.

При отправке первой статьи, однако, возник очень серьёзный вопрос о псевдониме. Решить его было не так легко, как это может показаться с первого взгляда. Назвать себя, как большинство поступало, по какомунибудь женскому имени: Тасин, Манин, Ленин, Мартов и т. п., или по месту жительства: Ангарский, Ленский, Печерский и т. п. Бронштейн, разумеется, не мог уже хотя бы потому, что так делали другие, а он не мог быть "как другие". Самым простым выходом было бы назвать себя своей настоящей фамилией, это было бы в высшей степени оригинально: никто так не поступал. Но это было ещё более невозможно. Этому вопросу он даже не ставил. Назвать себя Бронштейном значило навсегда прикрепить к себе ненавистный ярлык, указывающий на его еврейское происхождение. А это было как раз то, о чём он хотел, чтобы все, как можно скорее и основательнее, забыли. Его отчуждение от родителей в ранней молодости, пожалуй, в значительной степени можно объяснить нежеланием иметь перед собою слишком реальное напоминание о его национальности: отец имел типичные черты и повадки еврея.

Наконец, выход был найден. Бронштейн открыл имевшийся под рукой итальянский словарь, и первое слово на странице должно было стать его псевдонимом. Слово это оказалось "Antidoto" (противоядие). И Бронштейн назвал себя "Антид Ото".

Успех его в газете был такой, что о большем и мечтать невозможно было. Его честолюбие должно было получить полное удовлетворение; во всяком случае, максимум того, на что можно было рассчитывать при данных обстоятельствах.

Но, понятно, что эта литературная деятельность в сравнительно маленькой газетке, к тому же находящейся за тысячи вёрст, не могла заполнять и далеко не заполняла его жизни. У него оставалось очень много свободного времени и ищущей выхода энергии, которую решительно некуда было расходовать. И он принимал деятельное участие во всех играх и развлечениях, которыми ссыльные старались скоротать время. Особенно пристрастился он, к крокету, отчасти, может быть, потому, что характер, этой игры, более, чем всякой другой, давал особый простор проявлению его природной ловкости, сообразительности и находчивости. И тут, как всюду и во всем остальном, где ему представлялся случай так или иначе проявить свою индивидуальность, Бронштейн органически не переносил соперников рядом с собой: и одержать победу над ним в крокете было самым верным средством приобрести злейшего врага в нём.

Слава о литературных талантах Бронштейна росла и скоро дошла до заграничных революционных кружков. Руководящим органом русских социал-демократов в то время была издававшаяся в Женеве и тайно переправлявшаяся в Россию газета "Искра". Несмотря на то, что во главе её стояли такие силы, как Г. В. Плеханов, родоначальник научного социализма в России; его не менее великий антипод Ленин, вождь большевиков и вершитель судеб России впоследствии, Аксельрод, Засулич, Дейч, Потресов, Мартов, — "Искра" не могла пренебречь такую восходящую звезду, как Бронштейн. И он получил приглашение принять активное участие в газете. Бронштейн не заставил себя долго ждать. Он бросил крокет, жену и двух детей (второй только что родился) и бежал из ссылки, пробыв там около года. На время я потерял его из вида.

## Глава пятая.

### Заграницей.

#### II-ой съезд Р. С. Д. Р. П. и раскол в партии. — Большевики и меньшевики. — Бронштейн-Троцкий, Плеханов и Ленин.

В ноябре 1902 года я, окончив, срок ссылки, вернулся в Николаев. Там, мне скоро пришлось с головой окунуться в дела местной социал-демократической организации. Хотя память о Sturm und Drang периоде времён Львова (Бронштейна) ещё не умерла, но организация влачила жалкое существование. В то время, как при Бронштейне подпольно-общественное дело было всё, а частная жизнь революционера была лишь придатком к ней (вспомните "Вера без дела мертва есть"), — теперь интеллигенты, стоявшие во главе организации, были заняты своими частными делами, отдавая революции лишь крохи свободного от личных дел времени, да и то ещё с опаской, как бы не повредить себе и своей кое-как налаженной маленькой карьерой.

Понятно, что при таких условиях, дела шли через пень-колоду.

При помощи привезённых из Сибири связей мне удалось организовать более правильную доставку нелегальной литературы. Я устроил получение единичных экземпляров "Искры", завёл связи с нелегальной типографией "Организационного комитета" и стал печатать листки. Скоро организация наша пополнилась притоком нескольких новых интеллигентных сил, и мы сообща дружно взялись за работу. Мы возобновили издание "Нашего Дела", уже в печатном, а не гектографированном виде, начав с 4-го номера, того номера, на котором остановился Бронштейн.

Работа в организации освежилась и оживилась. Незаметно прошло несколько месяцев. Между нашей организацией и социал-демократическими организациями других городов завязались более или менее прочные связи. И мы послали своего делегата на партийный съезд, состоявшийся в Лондоне в 1903 году.

Мы с нетерпением ждали результатов этого съезда, долженствовавшего

объединить все разрозненные социал-демократические организации в России в единую целостную партию. Но нас ожидало разочарование. Посланный нами делегат не вернулся. Отчёт о съезде нам был представлен субъектом, позорно прославившимся на съезде и известным со времени этого съезда под кличкой Гусева. Этот Гусев был одним из тех надёжных эмиссаров, которых приверженцы Ленина, оказавшиеся на съезде в большинстве и получившие впоследствии название большевиков, поспешили разослать по организациям в России и за границей для того, чтобы в нужном для Ленина свете изобразить результаты съезда. "Отчёт" Гусева никого из нас не удовлетворил. Он, очевидно, не договаривал, глухо намекая на то, что меньшинство затевает какие-то каверзы против большинства и выбранных съездом органов, что оно чуть не готовится к расколу. От того же Гусева мы узнали, что наш земляк Бронштейн, который тоже был на съезде, заручившись из Женевы мандатом от Сибирской организации, также находится в этом меньшинстве, и, понятно, играет видную роль среди "бунтовщиков".

Участие Бронштейна, о преданности делу которого у нас у всех остались лучшие воспоминания, ещё больше увеличило наше недоумение.

Что-то непоправимое случилось на съезде: но что именно, мы не знали.

Тем временем я очутился в одесской тюрьме, так и не разъяснив своих недоумений.

В тюрьме я встретился с В. Н. Малянтовичем, впоследствии товарищем министра Почт и Телеграфов при Керенском, и другими товарищами по партии. Воспитанные на идеях строгой партийной дисциплины в духе Германской Социал-Демократической Партии, мы все единодушно осуждали "бунтовщиков"-меньшевиков и лояльно считали себя сторонниками большевиков.

Позже нам удалось устроиться так, что мы довольно регулярно стали получать "Искру". Она на съезде была объявлена центральным органом партии; но, по странному стечению обстоятельств, возможному только в подполье, очутилась целиком в руках меньшевиков. Они, естественно, поспешили сделать её органом для развития своих диссидентских взглядов.

Чем больше я читал "Искру", тем более я недоумевал: каждая статья развивала идеи, под которыми я не только не мог не подписаться обеими руками, но которым явно и очевидно вытекали из всеми нами всегда признававшихся основных принципов.

Чего же большевики хотят?

Среди других статей были также блестящие, негодующие статьи Бронштейна, возбуждавшие в читателе возмущение против Ленина и его чисто нечаевских приёмов.

Ровно через год после ареста, в сентябре 1904 года, я был освобождён из тюрьмы.

В Одессе, как я в других городах, в это время борьба между большевиками и меньшевиками была в полном разгаре. Суть разногласий

между ними уже вполне определилась. Большевики стремились углубить заговорщический характер партии с самым строгим подчинением центру, т. е. Ленину, жившему за границей. В приёмах большевиков всегда проглядывало недоверие к массам, боязнь, как бы массы, предоставленные самим себе на пути самодеятельности, не ускользнули от их влияния и не подпали под вредное чужое.

Меньшевики залог успеха партии и будущей революции видели в развитии самодеятельности в массах и настаивали на использовании всякой представляющейся возможности в этой области.

Так как для самодеятельности широких масс, по тогдашним условиям, представлялось очень мало простора, то борьба между большевиками и меньшевиками постепенно стала вырождаться в бесплодную чисто организационную склоку.

В это время из заграницы получилась брошюрка Бронштейна: "Наша тактика". Она уже вышла не под псевдонимом Антида Ото, а Н. Троцкого.

Как только я впервые увидел этот псевдоним, в моей памяти невольно всплыла импозантная фигура Троцкого, старшего надзирателя одесской тюрьмы, величественно опирающегося на свою длинную саблю и из своего центра держащего в руках всю тысячную толпу непривыкших к покорности и повиновению обитателей тюрьмы, всех младших надзирателей и даже самого начальника тюрьмы.

Сильная и властная фигура Троцкого несомненно произвела глубокое впечатление и на Бронштейна.

И чем более я знакомился с деятельностью Бронштейна впоследствии, тем больше росла во мне уверенность, что Бронштейн свою новую фамилию позаимствовал у царька одесской тюрьмы.

Когда в 1918 году я встретился в Одессе с Ильей Соколовским, который находился в одном месте с Бронштейном во время его побега из Сибири и, возможно, принимал участие в организации этого побега, я поделился с ним моими соображениями о происхождении псевдонима Бронштейна.

Он поднял меня на смех. По его словам, произошло это гораздо более просто. Бронштейн достал паспорт местного жителя Троцкого и с этим паспортом бежал.

Каково бы ни было происхождение этого псевдонима, он представлялся как нельзя более удобным способом отвязаться, наконец, от ненавистной еврейской фамилии и навсегда принять фамилию чисто русскую.

Насколько для него важно было избавиться от фамилии, напоминающей о его связи с еврейской нацией, можно судить по тому, что после захвата власти в октябре 1917 года, когда, казалось, руки большевиков были полны самых неотложных работ по коренному преобразованию страны и борьбы не на жизнь, а на смерть с ещё живой "контр-революцией", одним из первых их актов, в самые первые дни их господства, был декрета о том, что всякий гражданин имеет право, при желании, переменить свою фамилию, для чего этим же



декретом устанавливалась очень упрощённая процедура.

Кому, кроме Троцкого, Стеклова и ещё небольшой кучки рвущихся в историю отщепенцев, была такая спешная надобность в этом в такое горячее время?<sup>8</sup>

В указанной брошюрке "Наша тактика, Троцкий (будем теперь так называть его) впервые попытался стройно и систематически изложить основные черты тактики меньшевиков, отличавшей её от тактики большевиков.

В это время Троцкий находился под сильным влиянием П. Б. Аксельрода, одного из пяти основателей первой в России социал-демократической "Группы Освобождения Труда". И "Наша тактика" была лишь распространённой передачей тогдашних идей Аксельрода.

В одном месте этой брошюры, Троцкий в нескольких словах даёт характеристику каждого из досъездовских лидеров партии. С наибольшим уважением он понятно, относится к Аксельроду. Аксельрод, — говорится в брошюре, — пишет мало, но каждая его фраза является для других темой для больших статей. Мартов — это Добролюбов партии. Там же, где надо было связать, скрутить, накинуть мёртвую петлю, там на первом месте выступал Ленин.

Несмотря на лестную аттестацию, сам Аксельрод, как мне уже тогда приходилось слышать, был далеко недоволен, брошюрой Троцкого и тем, как он изложил его идеи. Они получили слишком упрощённый и схематический вид.

Как бы там ни было, брошюрка резко отличается от большинства других произведений Троцкого. В ней совершенно нет того искромётного блеска, составлявшего столь характерную черту его памфлетов впоследствии, и она ничем особенным не выделяется в ряду многих других более или менее хороших брошюр. Она лишена черт оригинальности, в ней отсутствует отпечаток индивидуальности автора.

И это вполне естественно. Меньшевизм совершенно несовместим со всем складом характера Троцкого. Его место скорее было там, где находился Ленин, где "надо было связать, скрутить, накинуть мёртвую петлю". Но там первое место было занято самим Лениным, который уже тогда явно представлял такую крупную величину и занимал такое выдающееся положение, что нечего было и мечтать не только о том, чтобы занять его место, но даже стать рядом с ним.

А Троцкий никогда не принадлежал к тем людям, которые могут занимать второе место или даже терпеть кого-либо рядом с собой. Единственный выход оставался — стать в ряды "бунтовщиков"; там была надежда выдвинуться в первые ряды и занять впоследствии первое место.

Плеханов, бывший среди меньшевиков, конечно, был бы конкурентом,

---

<sup>8</sup>Когда делегация из почётных евреев обратилась к Троцкому, как еврею, с просьбой воздействовать на своих товарищей-большевиков и не губить приобретений февральской революции, впервые давшей евреям права граждан в России, он пришёл в бешенство от такого напоминания о его национальности и в негодовании заявил: "Я не еврей, а интернационалист".

гораздо более опасным, чем Ленин. Но, во-первых, на съезде Плеханов был с большинством, руководимым Лениным; во-вторых, он никогда в организационных делах большой роли не играл, будучи по существу теоретиком. А теория именно всегда мало привлекала Троцкого. И с первого же личного знакомства с Плехановым, он питал инстинктивную ненависть к нему, что впоследствии неоднократно печатно засвидетельствовал с развязностью, поистине изумительной и никем не превзойдённой.

Впрочем и Плеханов сразу почувствовал к Троцкому непреодолимую антипатию. Задолго до приезда Троцкого из ссылки за границу, о нём уже много говорили, как о человеке, у которого замечательное перо. "Это перо мне очень не нравится", говорил Плеханов друзьям после того, как в первый раз увидел Троцкого<sup>9</sup>.

Как бы там ни было, вся последующая политическая деятельность Троцкого с очевидностью доказывает, что идеи брошюры "Наша тактика" совершенно чужды были всему складу его характера, и она являлась лишь плодом вынужденного положения. И потому нет ничего удивительного в том, что она носит характер вымученности, характер статьи, написанной на заказанную чужую тему, что на ней нет отпечатка индивидуальности Троцкого.

## **Глава шестая.**

### **В Петербурге.**

#### **Октябрьские дни 1905 г. — Троцкий в Петербургском Совете Рабочих Депутатов. — Парвус и "перманентная революция". — Арест. — Первая Государственная Дума.**

После этого я на некоторое время потерял Троцкого из виду.

Настали октябрьские дни 1905 года. Все выползли из подполья. Лидеры из зарубежных стран хлынули в Россию, в Петербург. Троцкий к этому времени уже находился там.

Для меньшевиков впервые открылась реальная возможность проводить в жизнь свои идеи о самостоятельности масс в широком масштабе. И они, действительно, не дожидаясь законодательного оформления, приняли самое деятельное участие в организации профессиональных союзов, кооперативов и всяких других объединений.

Идея Совета Рабочих Депутатов, сыгравшего такую видную роль в революции 1905 года, нашла у них свой первый самый живой отклик. Большевики, с Лениным во главе, верные своим принципам, решительно восставали против всех этих затей, пока власть находится в руках старого правительства. Увидев, однако, что рабочие не слушаясь их окриков, охотно организуются в профессиональные союзы, идут в кооперативы и пр., и что

---

<sup>9</sup>В этом с ним впоследствии сходилась Ленин, назвавший Троцкого "революционной балалайкой".

Совет Рабочих Депутатов становится главным центром революции, большевики с Лениным во главе, переменили тактику, хлынули в эти организации и всюду начали свою большевистскую дезорганизацию; а в Совете Рабочих Депутатов, вся сила которого была в его беспартийности, подняли скоро вопрос о подчинении его социал-демократической партии, т. е. в конечном счёте, большевикам; но в этом они успеха не имели.

Для Троцкого открылась, наконец, возможность выдвинуться и широко развернуть свои таланты. Он меньше всего интересовался теоретическими спорами между меньшевиками и большевиками, раз открылась возможность широкого действия и активного проявления своей личности. И когда первый председатель Совета Рабочих Депутатов, Хрусталёв-Носарь был арестован, Троцкий, под именем Яновского, фактически стал одним из главнейших руководителей Совета. Он достиг самого высшего, чего он мог желать. Взоры всей России были устремлены на Совет Рабочих Депутатов и его руководителей. Главный царский министр Витте вел переговоры с Троцким, как с равным себе представителем новой сильной державы. Было от чего закружиться голове и у всякого другого, а тем более у Троцкого, который, — теперь уже под сильным влиянием Парвуса, — известного русского и германского социал-демократа, впоследствии ренегата и спекулянта, — бредил "перманентной революцией". Когда Николай издал свой знаменитый октябрьский манифест, Троцкий, отвергнув участие в выборах в Государственную Думу и, вместе с большевиками всецело приняв точку зрения бойкота, в одной из своих речей заявил, что "рабочий класс на кроваво-красных стенах Зимнего Дворца кончиком штыка напишет свой собственный манифест".

Организационно, впрочем, Троцкий по прежнему оставался с меньшевиками; и парвусовские идеи о "перманентной революции" он развивал на страницах меньшевистского "Начала".

В декабре 1905 года я приехал в Петербурга и в первый же день встретился с Троцким в редакции "Начала".

В элегантно одетом, изящном господине с очень важным видом я с трудом узнал Леву Бронштейна с его небрежной косовороткой и прочими атрибутами былого опрощения.

Хотя он обнялся со мной и расцеловался, в его отношении ко мне ясно давал себя чувствовать покровительственный холодок человека, стоящего очень высоко на общественной лестнице и не имеющего возможности тратить время с друзьями того отдалённого времени, когда он ещё не был в чинах. Он уделил мне всего 2-3 минуты в коридоре, пригласил на завтрашнее заседание Совета и исчез в редакционном лабиринте.

Присутствовать на заседании Совета мне, однако так и не удалось, и Троцкого на свободе я больше не видел. На квартире, где мне была предоставлена ночёвка, ночью, когда дом был полон гостей, был произведён обыск (по доносу о хранении нелегальной литературы), и я, как еврей, не имевший права жительства в Петербурге, был арестован. Я переночевал в

участке, а на следующее утро, меня посадили в поезд и выслали из Петербурга. С первым, встречным поездом, я в тот же день вернулся обратно в Петербург.

На заседание Совета, я однако, решил некоторое время не ходить, чтобы не попасть на глаза арестовавшему меня приставу.

Тем временем весь Совет, вместе с Троцким, был арестован и предан суду.

После ареста Совета, политическая жизнь продолжала идти интенсивным темпом, направившись лишь по другому руслу: началась Думская кампания.

Между большевиками и меньшевиками опять загорелась борьба.

Меньшевики отстаивали участие в выборах, большевики были решительно за бойкот, боясь, что участие в выборах создаст в массах иллюзию, будто эта недемократическая и почти бесправная Дума может разрешить все политические и социальные вопросы, и отвлечёт внимание этих масс от необходимости борьбы за Учредительное Собрание. Учредительное Собрание в их глазах, таким образом, в отличие от Думы, приобретало характер какого-то талисмана или социально-политической отмычки, обладающей чудесными свойствами, независимо от условий места, времени и окружающей обстановки. Сторонников участия в выборах они обвиняли на этом основании в распространении и поддержке вредных антидемократических "конституционных иллюзий". Это было у них тогда таким же любимым выражением, как теперь "контрреволюционеры". Государственная Дума была, наконец, избрана и созвана. Её успех и популярность в массах превзошли все ожидания. Даже большевики опешили, хотя не хотел в этом сознаться. Вопреки всем их гаданиям на кофейной гуще, Дума стала центром революционного освободительного движения в России, и правительство не могло её долго терпеть. В июле она была разогнана. Реакция решительно подняла голову. Начались аресты и обыски. Был арестован и я.

## **Глава седьмая.**

### **В доме предварительного заключения.**

**Споры о бойкоте Думы. — Кадетизм и анархизм. — Колебания Троцкого. — Чужие лавры.**

В Доме Предварительного Заключения, куда я попал, политические пользовались свободой настолько, что совершенно беспрепятственно могли переговариваться через окна. Политические события резко нарастали. Каждый день приносил что-нибудь новое, и каждого вновь прибывшего (а арестованные прибывали непрерывно) товарищи осаждали допросами. Той же участи подвергся и я. Троцкий, который в это время тоже находился в Доме Предварительного Заключения, между прочим, спрашивал меня об общих знакомых. Моё замечание, по поводу одного из очень интересовавших его лиц, что он теперь "совсем меньшевик, почти кадет", вызвало злорадную реплику со стороны Троцкого: "Это очень пикантно в устах меньшевика!" В его глазах

таким заявлением я убийственно компрометировал и себя и меньшевиков. Между тем, у меня это не было неудачной обмолвкой; для меня, действительно, ясно было, что кадетизм, это — свойственная меньшевизму форма оппортунизма, тогда как оппортунизм, свойственный большевикам, — анархизм. Всякая революционная тактика (большевизм тогда ещё был течением революционным) имеет свойственную её сущности форму оппортунизма. Я считал, что мне чужд и тот и другой вид оппортунизма. Но если бы мне пришлось выбирать из двух форм оппортунизма, анархистского и кадетского, я всегда предпочел бы кадетский. Троцкий несомненно питал предпочтете и склонность, — хотя ни в каком случае, тогда он не решился бы признаться в этом, — к анархистскому оппортунизму, которому он теперь отдался всецело. Отсюда сарказм.

Следствие по делу Троцкого скоро после моего ареста было закончено; и он стал пользоваться сравнительно большей свободой, чем я и другие, находившиеся под следствием. Он писал статьи и брошюры, и они печатались. Пользуясь сравнительной свободой внутри тюрьмы, он часто подходил к моей камере, и мы подолгу беседовали через "волчок".

Благодаря ему, я имел возможность вести переписку с женой. Он брал у меня письма и доставлял ответы, минуя тюремную администрацию. Он также доставлял мне газеты и нелегальную литературу.

Как я уже указывал, во всех тактических вопросах он всегда был с большевиками, хотя организационно связывал себя с меньшевиками. Связь эта, как я также указывал, на мой взгляд, объясняется чисто случайными обстоятельствами в момент возникновения меньшевизма. Большевик по натуре, Троцкий стал меньшевиком по необходимости.

Во время одной из наших бесед через волчок, я задал ему прямой вопрос: неужели он, считающий себя марксистом, не видит, что меньшевики именно являются настоящими марксистами, и что большевикам совершенно чужд марксистский образ мышления. Он признал справедливость этого (иначе какой бы он был меньшевик?) и допустил, как самоочевидную вещь, что Ленин совсем не марксист. Однако, при этом он прибавил, что меньшевики совершенно неспособны к живому, активному политическому действию, в то время, как большевики всегда умеют схватывать настоящую здоровую, правильную тактику. И в его словах явно звучала горячая симпатия к близким ему по духу большевикам и с трудом скрываемая антипатия к совершенно чуждым ему меньшевикам.

"Как ты объяснишь, в таком случае, такое странное обстоятельство, что правильную марксистскую тактику могут проводить только очевидные не марксисты, а марксисты совершенно неспособны к марксистской тактике?"

На это я ответа не получил. Ему "помешали", и он больше к этому вопросу не возвращался.

Однажды он принёс мне свою написанную в тюрьме и только что напечатанную брошюрку: "Наши задачи в связи с разгоном Думы" (не ручаюсь

за буквальную точность заглавия, но таково было её содержание). Он, надо полагать, этим своим произведением был очень доволен. И ему, повидимому, очень хотелось услышать похвалу из чужих уст. По этой ли, или по другой причине (судить не берусь), но он попросил меня подробно написать моё мнение о ней. Я охотно согласился: при вынужденной тюремной бездеятельности и у меня жажда хоть какой-нибудь деятельности далеко превосходила предоставляемые для неё возможности.

В этой брошюрке Троцкий откровенно признается, что тактика бойкота в первую Государственную Думу была ошибкой<sup>10</sup>: "Мы не учли момента, и надо не бояться открыто признаться в этом".

Но когда он переходит к "Нашим задачам", он прямо поражает бедностью мысли и отсутствием реального содержания. Никакой осязаемой тактики он, в сущности, не предлагает. Все изложение ограничивается громкими трескучими фразами, не дающими читателю никакого указания: что же делать?

Я уже в другом месте указывал, что Троцкий мог в своё время хорошо излагать теорию марксизма, но когда дело доходило до применения его на практике, он неизменно пасовал.

Марксизм,—бесстрастно анализирующий социальный организм, выясняющий роль социальных групп в нём, социальные силы, движущие этот организм в том или ином направлении, — совершенно чужд всему психическому складу Троцкого, слишком занятого своей собственной личностью и её именно ролью в истории данного момента. У него не хватает терпения внимательно и вдумчиво вчитываться в страницы книги жизни. Он быстро перелистывает её, спеша отыскать своё имя в ней и занять своё место (неприменно первое и, по возможности, эффектное). Статья или брошюра: "Наши задачи", "Наша тактика" и т. п. должна только оправдать занятую позицию. Где уж тут до марксистского анализа? Он после, белыми нитками, пришивается спереди или сзади, смотря по тому, как это диктуется архитектурными соображениями, а то и совсем забывается.

Кадеты Родичев и Петрункевич, через Думу, стали героями страны. Лавры, доставшиеся им, могли бы достаться "нам", если-бы "мы" не сделали ошибки, правильно учли бы момент и т. д. А потому "Наши задачи", "Наша тактика" и т. д., и т. д.

Кое-какие общипанные лавры во второй Думе выпали и на "нашу" долю, но не в лице Троцкого, которого они опять миновали, а в лице большевика Г. Алексинского<sup>11</sup>.

Из всех профессий, в которых Троцкий до сих пор, с большим или меньшим талантом изощрялся: памфлетиста, публициста, народного трибуна,

---

<sup>10</sup>В этом отношении он резко отличается от Ленина, который упорно отстаивал правильность потерпевшей очевидный крах тактики бойкота выборов в первую Думу даже тогда, когда признавал необходимость участия в выборах во вторую Думу.

<sup>11</sup>Со времени войны Алексинский решительно порвал с большевиками и стал в ряды борцов против большевизма.

дипломата. — эта профессия политика-аналитика меньше всего соответствует его психической конструкции. Тут он наиболее резко обнаруживает свою Ахиллесову пятю. Более всего на своём месте он, пожалуй, в теперешней роли фельдмаршала. На этом поприще все его таланты могут развернуться но всю ширь.

Такт, или иначе брошюрка мне совсем не понравилась. Я откровенно написал своё мнение, в виде критической заметки, не скрывая того, что я думал, но, понятно, в очень корректной, дружески-товарищеской форме. Мне и в голову не приходило, что эта моя невинная заметка, в ответ на его просьбу, может сколько-нибудь повлиять на наши отношения, в особенности, если принять во внимание разницу общественно-политического удельного веса каждого из нас.

Я жестоко ошибся. После моей заметки он явно дулся на меня, стал избегать меня и, если и подходил к моей камере, то быстро просовывал сквозь щель под дверью газету или письмо от жены и немедленно исчезал. О моей заметке — ни слова, как будто я её не писал, и он меня об этом не просил; и беседы со мной через "волчок" прекратил. Он демонстративно давал мне чувствовать своё полное охлаждение ко мне.

Скоро его отправили в Сибирь. Через некоторое время и меня отправили в административную ссылку в Вологодскую губернию, и я надолго потерял Троцкого из виду.

## **Глава восьмая.**

### **В эмиграции.**

**Лондонский съезд Р. С. Д. Р. П. — Троцкий со "своим складным стулом". — Венская "Правда". — Отношение к старым друзьям.**

В 1907 году состоялся съезд российских социал-демократов в Лондоне. Там присутствовал цвет партии. Со стороны меньшевиков были Плеханов, Мартов, Церетели и многие другие светила. Со стороны большевиков — Ленин, Роза Люксембург, Алексинский, А. Богданов, Покровский, Тышко и др. Лучшие места с обеих сторон были заняты. Что было делать Троцкому, который успел бежать из ссылки и попасть на этот съезд? Примкнуть к чужому течению он не мог, и он основал собственное третье течение, "болото", как его называли. В качестве лидера этого третьего течения, он отныне выступал на съездах и конференциях, не смущаясь, если ему приходилось быть его единственным представителем. Мартов как-то позднее, уже во время войны, выразился о нём, что он всюду приходит со своим собственным складным стулом.

В 1908 году я очутился в Соединённых Штатах, в Нью-Йорке. До 1912 года сведения мои о Троцком были очень скудны. Пария в это время переживала период разлагающего застоя. В ней даже развилось особое течение, имевшее сторонников среди очень видных представителей её, требовавших ликвидации партии. Это был период "ликвидаторства".

Троцкому, большевику по духу, меньшевику по организационным связям, в качестве "лидера" третьего течения, легко было, в этой нездоровой обстановке, занять положение примирителя и объединителя. Он издавал в Вене свою собственную газетку "Правда", где он проводил свои собственные "третьи" идеи... Мне приходилось читать "Правду", но особую идею мне выудить там никак не удалось.

В 1912 году нью-йоркская организация русских социал-демократов стала выпускать свою газету "Новый Мир". В качестве редактора был из Парижа приглашён Л. Г. Дейч.

Однажды Л. Г. Дейч вручил мне письмо, полученное для меня на адрес редакции из Парижа. Она было от Троцкого.

Не могу скрыть, что я ему очень обрадовался. Прежде, чем я успел вскрыть его, на меня повеяло чем-то близким, родным и вместе с тем ушедшим куда-то в грустную даль.

Содержание письма меня, однако, в значительной степени разочаровало. Оно было коротко и написано в очень сдержанном тоне. От письма у меня получилось такое впечатление, что Троцкий боялся, как бы не очутиться в объятиях совершенно чужого человека или ещё больше, чтобы дружески протянутая рука не повисла в воздухе без ответного пожатия: ведь мы так давно не виделись, и он обо мне давно ничего не слышал. В одном месте письма он прямо так и спрашивает: не "американизировался" ли я (опять намёк на пресловутую "измену"). Не сообщая о себе ровно ничего, он просит меня подробно сообщить о себе, оставляя, повидимому, за собою право поступить в дальнейшем со мною в зависимости от моего ответа.

Что побудило его написать это письмо: потребность ли возобновить старые дружеские отношения, или какое-либо другое соображение, мне трудно было тогда решить. Позже, когда он приехал в Америку, в беседе со мной, он сообщил мне, что как-то написал (судя по всему, это было около того времени, когда он написал мне) письмо Францу Швиговскому. Но, совершенно неожиданно и к величайшему своему изумлению получил от него такой грубый отпор, что о продолжении переписки не могло быть и речи.

Для меня, хорошо знавшего благородство, чуткость и деликатность Франца, такое его поведение было совершенно непонятно, в особенности по отношению к человеку, с которым он был так близок и дружен. Когда же я про себя сопоставил историю этого письма с письмом Троцкого ко мне, мне стало ясно, что Троцкий чего-то не договаривает. Очень возможно, что в письме своём к Францу (также, вероятно, предусмотрительно сдержанном и холодном) он ещё резче, чем в письме ко мне, намекнул ему об "измене".

Встретив Франца, уже по приезде в Россию, в 1918 г., я спросил его об этом письме. Точно содержания письма Троцкого он не помнил. Он помнил только, что оно было написано в таком оскорбительном духе, что другого ответа, кроме того, который он ему дал, оно не заслуживало.

Я не сомневаюсь, что у Троцкого не было намерения в письме к Францу



оскорбить последнего, как у него не было намерения оскорбить меня. Я склонен думать, что письмом к Францу, как и письмом ко мне, он искренно хотел возобновить дружеские отношения. Но не обладая ни чуткостью, ни деликатностью, ни благородством Франца, он, в эгоистическом стремлении обезопасить себя от возможности неприятного для его гипертрофированного самолюбия отпора, слишком перегнул палку в противоположную сторону и добился, — как это часто в таких случаях бывает, — как раз того, чего так старательно хотел избежать. Что касается меня, то я, с одной стороны, очень хотел ответить Троцкому и завязать с ним переписку; с другой стороны, какой то неприятный осадок от письма меня каждый раз удерживал. И я так ему и не ответил. Возможно, что это было записано мне в пассив не менее, чем Францу его "грубый" отпор.

Я считал нужным остановиться на этом незначительном по себе эпизоде потому, что он характеризует Троцкого, как друга. Как бы Троцкий ни был привязан к другу, он никогда не является для него самоцелью. Друг существует для него и ценен только до тех пор, пока так или иначе дает возможность для проявления его (Троцкого) индивидуальности. Он, действительно, любит его, привязан к нему, и пр. Как самостоятельная индивидуальность, вне указанной служебной роли, друг не имеет для него значения. Поэтому, как только друг перестал играть эту роль, дружба сразу отпадает, как будто её никогда не было, без всякой внутренней борьбы, без трагических переживаний.

Он говорил о разрыве с Францом так легко, как о совершенно чужом, с которым он никогда не был близок; то же он проявил по отношению ко мне после моей критики его брошюры в Доме Предварительного Заключение; то же было по отношению к Дейчу; к жене, Александре Соколовской, которую он оставил с двумя детьми, с лёгкостью прямо изумительной, и т. д., и т. д.

## **Глава девятая.**

### **Война.**

**Троцкий в Цюрихе и Париже. — Парижский "Голос" и "Наше Слово". — "Интернационализм" и пораженчество. — Полемика с оборонцами. — Арест и высылка Троцкого из пределов Франции.**

Прошло два года. В 1914 году вспыхнула война, разделившая почти всю Европу на два враждующих лагеря. Но и нейтральные страны, естественно, никоим образом не могли оставаться равнодушными к исходу войны и, более или менее откровенно, становились на ту или другую сторону. Население нейтральных Соединённых Штатов в громадном большинстве было решительно на стороне Англии и её союзников. На стороне Центральных Держав были, главным образом, патриотически настроенные выходцы из Германии и Австро-Венгрии, в том числе многочисленные в Америке галицийские евреи. Массы этих выходцев, не

способные стать на более широкую общую точку зрения, естественно желали победы своей родине.

Но были и такие, которые сочувствовали Центральным Державам только потому, что желали поражения своей родине. К ним принадлежали ирландцы, всегда имевшие зуб против Англии; а также выходцы из России, большинство которых эмигрировало в Америку в поисках убежища от политического и национального гнёта на родине. Они были проникнуты ненавистью к деспотическому русскому правительству, которое они, в своём невежестве, смешивали с Россией. И потому они, естественно, желали России поражения и всяческих бед, и питали враждебные чувства к связавшимся с нею Англии и Франции. Газеты, заботясь, главным образом, о тираже, отражали настроение своих читателей. Громадное большинство их было на стороне Англии, Франции и пр. Те же, главный контингент читателей которых составляли немцы, ирландцы или пораженчески настроенные русские выходцы, были за победу Германии и её союзников.

Социалистические газеты, большинство читателей которых были те же немцы и выходцы из России, были настроены резко германфильски. Таков был английский "Колл", немецкий "Фолксцайтунг", русский "Новый Мир". Такою же была газета "Русское Слово", редактировавшаяся тогда Иваном Окунцовым.

Особенно в этом отношении отличалась еврейская социалистическая газета "Форвертс". Эта газета всегда имела все типичные черты жёлтой газеты. Рост тиража всегда был основной целью и предметом гордости её редактора Абрама Кагана, который даже хвастался этим в своих передовицах.

"Форвертс" сначала занял было позицию сочувствия Англии и её союзникам. Но, увидев, что его конкурент ("Варгайт") потерпел крах вследствие такой политики, в короткий срок потеряв большинство своих галицийских читателей, — он быстро повернул фронт. Ведь его читатели тоже наполовину состояли из галицийских евреев, а другую половину составляли русские эмигранты, враждебно настроенные к царскому правительству. Эта газета не только открыто заняла германфильскую позицию, но и в шумно крикливых сообщениях своих прибегала к приёмам, свойственным жёлтой шовинистической прессе самого низкого пошиба, с рекламным восхвалением "геройских" подвигов германских войск, командиров, отдельных солдат и шпионов, и всяческою хулою на такого же рода подвиги противной стороны.

В 1916 году Л. Г. Дейч, давно устранившийся от редактирования "Нового Мира", стал издавать ежемесячный журнал "Свободное Слово", в котором последовательно развивал точку зрения социалистов, оставшихся верными своим освободительным тенденциям; он решительно и со всею энергией восставал против германфильства местных социалистических изданий, всё равно, принадлежали ли они к откровенным пораженцам, в духе Ленина, или прикрывали своё германфильство благозвучной кличкой "интернационалистов".

Хотя редакция "Свободного Слова" в первой программной статье вполне

ясно и определённо высказала свою точку зрения, она тем не менее там же объявила, что в интересах всестороннего освещения вопроса, она открывает свои страницы также для товарищей из лагеря "интернационалистов"<sup>12</sup>.

Троцкому, Мартову и другим были с этой целью посланы формальные приглашения. Никто, однако, кроме В. Мандельберга, члена 2-ой Государственной Думы, не откликнулся. Мартов прислал отказ. Троцкий не удостоил даже ответа.

Троцкого война застала в Австрии. Ещё в самом начале войны, он написал брошюрку на немецком языке, изданную в Цюрихе, под названием "Война и Интернационал". После объявления войны, он, как русский подданный, был выслан из пределов Австрии, и поселился сначала в Цюрихе, а потом в Париже.

Там, в то время, когда немцы вели своё усиленное наступление и когда они грозили овладеть Парижем, Троцкий в самом Париже, под охраной французских штыков, в своей газетке "Голос" (скорее маленькая листовка, чем газета), не переставая, обливал грязью французское правительство и союзников. Изливая на них потоки фанатической злобы, он не оставлял без придирчивых нападок самого малейшего действительного или мнимого промаха этих правительств, в то время, как самые возмутительные акты германского и австрийского правительств самым странным образом совершенно замалчивались им.

Варварское потопление "Лузитании", при котором погибли тысячи женщин и детей, вызвало, как известно, бурю негодования во всем цивилизованном мире. Даже жёлтый шовинистически-германофильский "Форвертс" не счёл возможным не поместить несколько обширных статей, выражающих возмущение этим актом.

В газетке Троцкого это событие было обойдено самым полным молчанием.

На небольшом пространстве этой маленькой газетки Троцкий не уставал, бьё себя в грудь, трубить о своём "интернационализме," и клеймить "пошлого" Плеханова и других "предателей" из того же лагеря, осмелившихся отстаивать еретическую идею о праве всякого народа на самозащиту в случае нападения на него. В то же время, он так явно на каждом шагу проявлял свою более, нежную терпимость к слишком "интернационалистическим" наклонностям Вильгельма и его союзников, что приходилось невольно только руками разводиться.

И Дейч, однажды, под влиянием только что прочитанного свежего номера газетки Троцкого, весь кипя негодованием, воскликнул: "Если бы я лично не знал Троцкого, я бы не сомневался в том, что он подкуплен германским правительством".

Так как упомянутая выше брошюрка Троцкого "Война и Интернационал,"

---

<sup>12</sup>Тогда ещё не было полного разрыва с ними. И группа "интернационалистов" ещё резко отделяла себя от пораженцев, возглавляемых Лениным, который заявил, что Троцкий, в сущности, такой же предатель, как и Плеханов.

была единственным имевшимся тогда в нашем распоряжении литературным произведением, в котором более или менее полно излагалась вся несложная премудрость "интернационализма", то Дейч счёл полезным дать своим читателям понятие о ней, тем более, что сами "интернационалисты" наотрез отказались познакомить читателей "Свободного Слова" со своей точкой зрения, хотя бы в шовинистическом, откровенно-германофильском "Форвертсе" они охотно сотрудничали (и Троцкий, и Мартов, и вся братия). Написать соответствующую статью Дейч поручил мне, в результате чего в одном из первых номеров журнала появилась моя библиографическая заметка об этой брошюре.

Троцкий, считавший ниже своего "интернационального" достоинства сотрудничать в таком журнале, как "Свободное Слово", тем не менее, счёл, повидимому, своим публицистическим долгом самым внимательным образом следить за ним.

Газетка Троцкого, вообще не отличавшаяся разборчивостью в выборе средств борьбы и более, чем беззаботно относившаяся к элементарным требованиям чистоты литературных приёмов, — совсем уже распоясывалась, когда дело касалось маленького, но тем более ненавистного далёкого американского журнала. Получалось впечатление, будто Троцкий лично мстил за что-то редакции и её главе Дейчу, с которым он до самого недавнего времени был в самых дружеских отношениях, и которому очень многим был обязан.

Ничто в этом журнале не ускользало от зоркого ищущего внимая Троцкого и его верных помощников-сотрудников.

Все подвергалось самому строгому "критическому" разбору: статьи, статейки, скромная библиографическая заметка Дейча о выходе первого тома "Истории общественной мысли в России" Плеханова, даже объявления. Ничего не пропускалось, и все подвергалось самому тщательному глумлению и оплёвыванию.

Одного, казалось, в "Нашем Слове" упорно не хотели замечать: моей библиографической заметки о брошюре Троцкого. Дейч уже подтрунивал надо мною по этому поводу.

Прошло три месяца, и вдруг неожиданно-длинная статья, озаглавленная "Война и Интернационал", или что-то в этом роде (заглавия таких статей также однообразны и несложны, как и сама идея "Интернационализма"), подписанная Троцким и целиком направленная против моей заметки; но на этот раз не в парижском "Нашем Слове"<sup>13</sup>, а в нью-йоркском "Новом Мире".

За этой длинной статьей последовали другая, третья и четвёртая, — все о той же небольшой библиографической заметке.

Все четыре статьи представляли сплошной набор изысканных ругательств по моему адресу, без малейшей попытки привести хотя бы самую короткую цитату из моей заметки для характеристики моих наивных и глупых поползновений провинциального дилетанта в области литературных

---

<sup>13</sup>"Наше Слово" заняло место закрытого французским правительством "Голоса".

упражнений, осмелившегося выступить против признанного корифея русской публицистики.

В своей парижской газетке Троцкий по прежнему неутомимо продолжал заполнять две маленькие странички, имевшиеся в его распоряжении, нападками на французов и союзников, и также упорно замалчивать деяния Германии и её союзников. Оставалось только удивляться тому, как французское правительство терпело у себя такую занозу, хотя и маленькую, но от того не менее назойливую.

Наконец, чаша его терпения переполнилась, и газетка была окончательно закрыта, а Троцкий был арестован.

Его выслали из пределов Франции, и он попал в Испанию. Правительство Испании,— возможно под давлением французского,— также не пожелало иметь его у себя на свободе, и ему грозила ссылка чуть ли не в Новую Каледонию. Благодаря вмешательству американских социалистов, ему были высланы деньги на дорогу, и он приехал в Нью-Йорк.

## Глава десятая.

### В Америке.

#### **Митинг-встреча в Нью-Йорке. — Речи о "немедленном прекращении военных действий на фронтах". — "Реакционная империалистическая Антанта" в "прогрессивная" Германия. — Грядущая "мировая революция".**

Как только стало известно, что Троцкий приезжает в Нью-Йорк, местные социалистические газеты начали кампанию подготовки и обработки публики для достойной встречи гостя.

Обстоятельства были более, чем благоприятны для того, чтобы провести эту кампанию в чисто американском масштабе и размерах: старый борец за свободу и демократию России (Троцкий тогда ещё был сторонником свободы и демократии), социалист и революционер, изгнанный из Австрии, недопущенный в Германию, преследуемый во Франции и Испании, подвергшийся травле во всей Европе за свою горячую и самоотверженную преданность идее мира, — чего больше надо для антимилицаристически настроенных читателей социалистических газет, каждый день подогревавших энтузиазм своих читателей все новыми сведениями о прежней и теперешней деятельности Троцкого.

Не только "Форвертс", "Новый Мир" и "Колл" были полны статьями о нём, но и кой-где в буржуазной прессе появились благожелательные заметки об ожидаемом госте: ведь он был не только антимилицаристом, но и деятельным участником борьбы за русскую свободу, к которой в Америке всегда относились с большим сочувствием.

Прежде, чем Троцкий успел ступить на американскую почву, опытные

интервьюеры от местных газет поспешили учинить ему самый строгий допрос о прежней и теперешней жизни, о политических взглядах, идеях, планах, — обо всём, что ему хорошо известно, мало известно, совсем неизвестно и не может быть неизвестным.

На другой день в социалистических газетах появились подробные отчёты об этих интервью. "Форвертс" поместил самую большую статью, заполнив ею чуть не полстраницы обширного формата. На следующий день появилось продолжение и т. д. и т. д.

На одном из таких интервью Троцкий, осаждённый полудюжиной интервьюеров, польщённый таким неожиданным приёмом и помпой, заметил: "Никогда на самом строгом допросе жандармов я так не потел, как теперь, под перекрёстным огнём этих специалистов своего дела".

В газетах помещались его портреты, старые и только что схваченные в разных позах и и положениях.

Вскоре по приезде Троцкого в Нью-Йорк в честь его был устроен, так называемый, Reception Meeting в "Купер Юнион".

Понятно, митинг этот всячески рекламировался предварительно и в статьях и в объявлениях с чисто американским размахом и шумом.

Я, конечно, решил пойти на этот митинг. Хотя я пришёл с значительным опозданием, снаружи, вопреки ожиданию, не было никакой толпы, зал был почти пуст, и я смог, занять место в одном из передних рядов.

Я помню такое собрание в этом самом зале в 1912 году, когда таков же Reception Meeting был устроен в честь Дейча. Задолго до часа, объявленного для начала митинга, зал был переполнен. Не только вся платформа на сцене, все сидения в амфитеатре и все проходы были заняты, — было занято всё пространство позади сидений, между сидениями и сценой, даже на подоконниках; где только можно было опереться ногой, стоял человек. Так широко популярно было имя Дейча, приехавшего для скромного дела редактирования маленькой русской газеты.

Теперь же самой искусной рекламы, с игрой на самые чувствительные струны эмигрантской массы, очевидно, оказалось недостаточно для того, чтобы за ночь создать популярность человеку, жившему до этого далеко за океаном и до сих пор громадному большинству, заполняющему обыкновенно залы таких митингов, совершенно неизвестному.

Зал наполнялся очень медленно, и собрание пришлось открыть при наполовину пустом зале, после того, как время, назначенное для начала, давно прошло.

Опять, в полном согласии с установленным обычаем, прежде, чем было дано слово Троцкому, выступило множество ораторов, на разных языках изощрявшихся в дифирамбах высокому гостю, но особенно надрывался представитель редакции немецкой социалистической газеты Лоре, который рвал и метал (он был, конечно, "интернационалистом" и желал победы немцам) и из кожи лез, чтобы возможно выше превознести "нашего дорогого учителя",

совершенно забывая, что, по крайней мере, три четверти собрания, незнавшего немецкого языка, его совсем не понимало.

Как Троцкий, писавший по-русски, мог стать учителем немца Лоре, русского языка совсем не знавшего, и какие учёные труды, хотя бы на русском языке, имел в виду усердный дифирамбист, так и осталось его личной тайной. Неужели брошюрка "Война и Интернационал" так просветила непрехотливого учёного редактора?

Когда публика была в достаточной мере утомлена этой нестройной многоязычной армией ораторов, выступил сам виновник торжества Троцкий, встреченный дружными аплодисментами.

Известно, что в Америке популярность оратора измеряется промежутком времени, в течение которого ему мешают начать его речь более или менее неистовыми выражениями любви, уважения и преклонения: аплодисментами, свистом, топаньем ног и т. п. очень несложными, но оттого не менее шумными приёмами.

Это называется "cheering".

Неизвестно, сколько времени продолжался бы "cheering" в честь Троцкого, если бы он, не успев ещё приобрести вкуса к американским угощениям, резко не пресек его в самом начале явными знаками нетерпения, и не начал свою речь, не взирая на самый разгар аплодисментов, после того как знаки нетерпения не произвели должного эффекта.

Публика моментально присмирела.

Трудно высказывать суждение об ораторских достоинствах противника. Тем не менее, я должен сознаться, что эта речь Троцкого произвела на меня очень сильное впечатление, просто с художественной стороны. Слушая его, я испытывал истинное эстетическое наслаждение, цельное, несмотря на то, что я решительно отвергал всю идею, на которой она была построила. Это был образец ораторского искусства.

Я слушал его много раз после этого. То были иногда речи посредственные, были хорошие, были и очень хорошие. Но такой, как эта, я больше не слышал. Троцкий, несомненно, к ней тщательно подготовился, на что имел редкую возможность; и подготовился так, как он к другим речам несомненно не готовился и не мог готовиться. Эта речь была лишена грубо демагогических приёмов воздействия на слушателей, по крайней мере, таких для культурного слуха явных, которые мы с правом можем назвать демагогическими: благодарная тема делала их совершенно излишними. Он подавлял слушателей массой фактов, рисующих реальные ужасы войны и непоправимые разрушения, материальные и духовные, которые она приносит сейчас и которыми, в ещё большей степени, она неизбежно грозит нам в будущем.

Он приводил своих читателей в трепет, с ужасом сообщая им, что Париж с 6-ти часов вечера погружается в мрак. И не из боязни германских цепелинов, — в горячем пафосе выкрикивал он. — а потому, что, в своей экономической

деградации, Франция уже дошла до того, что у неё не хватает угля; и женщины с мешками ходят по улицам, собирая осыпавшиеся кусочки угля для того, чтобы согреть своих озябших детей и сварить им немного тёплой пищи...

А моральная деградация. Французское правительство, ради победы во что бы то ни стало (это было время апогея побед Германии), в полном согласии со своими не менее варварскими союзниками, не останавливаются перед тем, чтобы для спасения цивилизации, посылать против немцев африканских чернокожих дикарей, в ранцах которых (тут негодующий пафос Троцкого достиг высшего напряжения) находили отрезанные уши немецких солдат.

Дальше моральное одичание, вызываемое войной, идти не может. Он подавлял аудиторию обилием фактов, один ужаснее другого. И его горячее негодование и благородный пафос передавались слушателям; и, наэлектризованные его красноречием, они проникались искренним возмущением против французского правительства и его союзников, ведущих Европу к таким ужасам экономического, социального и морального разложения.

Правда, все эти ужасы, при всей их действительной колоссальности, только невинная датская игра в сравнении с ужасами и деградацией, вызванными бесконечной гражданской войной, разразившейся впоследствии в России. Правда, что невольно возникает сомнение в искренности Троцкого, когда вспоминаешь, что вдохновителями и руководителями этой гражданской войны являются именно Троцкий и его друзья, успевшие стать у власти, и всякими правдами и неправдами старающиеся распространить священный пожар этой гражданской войны на всю Европу, которая с трудом уже обрела, наконец, столь горячо желанный Троцким мир, и стремящиеся даже перекинуть этот пожар на весь остальной цивилизованный и не цивилизованный мир, ещё к ужасам этой тлетворной деградации не приобщённый.

Но слушатели его тогда всего этого не могли знать, точно так же, как не могли они знать о будущей коммунистически-цивилизаторской роли китайцев, и многих других дел и вещей Троцкого и его друзей, от которых кровь стынет, и перед которыми бледнеют самые вопиющие ужасы войны, такими яркими красками изображённые Троцким перед его нью-йоркскими слушателями.

И потому художественная цельность их впечатления ничуть нарушена не была, и триумф Троцкого был полный. Эта часть речи, касающаяся ужасов войны, была решительно доминирующей, как по объёму, так и по содержанию, как это мы всегда видели и до него у всех абстрактных сторонников мира во что бы то ни стало, назывались ли они "интернационалистами", антимилитаристами или нейтралистами, безразлично.

Отличалась она от других не новизною идеи, не глубиною мысли, а исключительно художественностью выполнения.

Раз война такое ужасное зло, то ясно, что всякий социалист должен решительно и безоговорочно быть против неё. И тот, кто приемлет войну, кто своим сознательным участием в ней, в той или иной форме, в той или иной, хотя самой малой и робкой мере, так или иначе содействует продлению её хотя



бы на один день, тот является изменником, предателем дела рабочего класса. И у социалистов, оставшихся верными своим идеям, с этими отщепенцами ничего общего быть не может; с ними не может быть никаких отношений, кроме отношений самой беспощадной борьбы, как с отъявленными врагами рабочего класса. Об этом он считал нужным заявить с самого начала, так как не хочет, чтобы на этот счёт у кого-нибудь остались какие бы то ни было сомнения. Это отмежевание от социал-патриотов и предателей (он так решительно и прямо всё время выражался), какое бы высокое положение в социалистическом мире они до этого ни занимали, как бы они ни назывались: Плеханов, Вандервельде, Тома, Гед и т. п.—есть первое дело для всякого честного социалиста.

Как я ни был увлечён художественной стороной речи, этот странный логический скачок от ужасов войны к абстрактному, прекраснородушному, мещански-наивному антимилитаризму quand meme резнул моё ухо.

Как бы там ни было, но тут Троцкий не допускал никаких компромиссов и обрушился со всей силой своего красноречия на французского социалиста Тома и других, навсегда опозоривших себя тем, что вошли в буржуазные правительства обороны, признали войну, приняли в ней сознательное участие и тем самым взяли на себя ответственность за все изображённые им экономические, социальные и моральные ужасы её.

А когда он заговорил о том, как девять русских волонтёров были расстреляны на фронте за какое-то нарушение дисциплины, красноречие его достигло наибольшей силы, и негодованию его не было пределов. И пусть правительство французское не пытается свалить всю тяжесть этого отвратительного преступления на военные фронтовые власти: оно целиком ответственно за него. И пусть Тома не утешает себя тем, что он этого смертного приговора не подписал. Его материальной подписи, может быть, там не было, но морально его имя выжжено там позорными неизгладимыми буквами. И да будут прокляты те социалисты, которые и после этого находят возможность протягивать руку таким социалистам, как Тома, для какого бы то ни было совместного действия. Тут он дошёл до апогея: его бьющее, казалось, из самой глубины души, бичующее негодование передалось всему собранию, напряжённо слушавшему его с затаённым дыханием.

Это было в самом конце 1916 года, незадолго до того, как вспыхнула Русская Революция. А в начале 1918 года, Троцкий уже в качестве фельдмаршала, а не скромного эмигранта, докладывал в Москве о нарушениях дисциплины в подведомственной ему армии. От былого пафоса и пацифистского негодования не осталось и следа. Он спокойно и деловито, как подобает человеку на таком высоком и ответственном посту, информировал о принятых им мерах и, успокоительно, сообщал о том, что все обстоит благополучно и 10 нарушителей дисциплины арестованы; он мимоходом лишь, в скобках, как о маленьком досадном запусении, заметил: "К сожалению они ещё не казнены".

Но публика на Reception Meeting об этом тогда, конечно, не могла знать,

как она не могла знать, с какой изумительной лёгкостью тот же Троцкий скоро после этого казнил и убивал не девять, и не десятки и сотни провинившихся перед ним солдат, и не только солдат, но и жён и детей и других родственников их, если эти солдаты ускользали от кары... И потому цельность художественного впечатления опять ничуть нарушена не была.

Я с нетерпением слушал Троцкого, все ещё надеясь услышать от него разъяснение, почему это из несомненных ужасов войны следует, что бельгийцы, французы, сербы и пр. должны побросать оружие перед лицом победоносно наступающей рати Вильгельма; и какие блага от этого могут последовать, как для побеждённых бельгийцев, французов, сербов, русских, так и для народов, находящихся под властью правительств победителей.

Ответа скоро не замедлил придти.

Он был до нельзя прост. Изображённые им ужасы войны так подавляюще колоссальны, губительны и очевидны для всех, что не может быть ни малейшего сомнения в том, что рабочие, больше всего на себе испытывавшие эти ужасы, вернувшись с фронта, ни одной минуты не смогут терпеть тот политический и общественный строй, который породил эти ужасы. Не может быть ни малейшего сомнения, что, придя домой, они немедленно всюду устроят восстания против своих правительств и сметут их с лица земли вместе со всеми ужасными буржуазными отношениями, выразителями которых эти правительства являются, и установят социалистический строй.

Ужасы войны испытали рабочие всех стран, как победительниц, так и побеждённых. И потому вернувшиеся с фронта рабочие будут устраивать революцию всюду, все равно, победило ли их правительство или потерпело поражение.

У меня сразу открылись глаза, — мне все стало ясно. Раз, вернувшись с фронта, все рабочие неизбежно устроят социалистическую революцию, то не всё ли, в самом деле, равно, какая страна останется победительницей.

Важна не победа, а скорейшее повсеместное возвращение с фронтов. Так просто!

Ну, а если не устроят? Тогда... "Тогда", заявил Троцкий, угрожающе потрясая кулаком в воздухе, "тогда — я сделаюсь мизантропом". Таким образом, как видите, прочная гарантия была вполне обеспечена.

"Немедленное прекращение военных действий" вот что важно. А всякие "без аннексий, контрибуций" и прочие агитационные привески, — это мелочи, необходимые лишь, как приманка для того, чтобы вызвать необходимый уход с фронта домой.

Какое, в самом деле, могут иметь значение все эти вещи, раз всё общество, весь мир, всё равно будут перестраиваться на совершенно новый лад, и вся карта Европы и всего мира будет заново перекраиваться в полном согласии с программой, подробно и детально начертанной Троцким в его брошюре "Война и Интернационал".

Нечего говорить, что речь эта имела колоссальный успех.

Троцкий быстро приобрёл популярность в местной русской колонии. Он скоро окончательно порвал с "социал-патриотами", устроившими его приезд в Америку и так радушно принявшими его.

Он сделался редактором "Нового Мира" и быстро превратил эту газету во второе издание "Нашего Слова".

Время приезда Троцкого в Нью-Йорк совпало с сезоном балов, устраивавшихся в это время в несметном изобилии всеми организациями. И Троцкий был весьма заманчивой приманкой для тех из организаций, которым удавалось залучить его в качестве оратора на такой бал и, таким образом, значительно увеличить доходность предприятия. Я видел и слушал его на многих балах.

Но столкнуться с ним и говорить мне не приходилось. Его решительная и определённая вступительная речь отбивала всякую охоту к этому. Да и вообще он держал себя очень недоступно. Он произносил речь, вызывая должный энтузиазм, получал свою порцию триумфа и сходил с кафедры; но не спускался в толпу, не сливался с нею, как старший любящий и любимый товарищ, а исчезал как-то в высь, в закулисные облака, окружённый атмосферой высокомерного холодного отчуждения, которое, как толстая броня, отпугивала от него даже самых горячих поклонников его, раз они не принадлежали к партийным и организационным верхам.

Это бросалось в глаза не только мне, но и тем, кому удалось подойти к нему поближе, за эту броню. Сотрудник одной газеты, которому было поручено важное и ответственное дело интервьюировать Троцкого при его приезде, так поделился со мною своими впечатлениями: "В 1912 году я интервьюировал Л. Г. Дейча, когда он приехал в Нью-Йорк для редактирования "Нового Мира". Какой контраст между ним и Троцким! В то время, как Дейч весь сама простота, и с ним с первой же минуты чувствуешь себя, как с равным товарищем, несмотря на громадную разницу в возрасте, в присутствии Троцкого все время находишься, как бы перед важным сановником, который ни на минуту не позволяет забыть о разделяющем вас от него расстоянии".

Между тем Дейч, при приезде своём в 1912 году, был уже широко известен, как старый русский революционер, побывавший уже в Америке после побега с каторги, и как автор "16 лет в Сибири", переведённых чуть ли не на два десятка языков. И известен он был не только среди социалистической публики, но и среди всего остального населения.

Троцкого же до его изгнания из Франции несоциалистическая часть совсем не знала, а в социалистическом мире он хорошо был известен только узкому кругу русских эмигрантов.

Но чем более высокомерно и отчуждённо он держался, тем более невольного благоговейного почтения он вызывал к себе. Тот самый сотрудник газеты, о котором я только что упомянул, однажды с трудом скрываемой гордостью поведал мне, что Троцкий обещал посетить его. Должен сознаться,

что и мне хотелось как-нибудь повидаться с Троцким, — слишком уж много у нас было общих старых связей и воспоминаний, чтобы их легко можно было игнорировать. "Когда у Вас будет Троцкий, скажите, что я передал привет ему". Если бы у Троцкого явилось желание повидаться со мною, ему легко было бы вызвать меня по телефону. Вызова, однако, не последовало.

"Ну, что, был у Вас Троцкий?" — спросил я на следующий день. — "Да, я помню такого", — это всё, чем реагировал Троцкий на полученный через сотрудника газеты привет от меня.

Прошло недели три со дня приезда Троцкого. Однажды подхожу к телефону: "Это ты, Гриша? Узнаёшь меня? Я — Троцкий".

Оказалось, что он давно хотел видеть меня, всячески разыскивал меня (при желании не было ничего легче, как найти меня). О моём присутствии на балах, он узнавал, либо когда меня уже там не было, либо после того, как сам уходил. Словом, он хочет со мною увидеться и просит назначить удобное место и время.

Я пошёл к нему. Встреча наша была дружеская, хотя и не очень горячая. Неловкости никакой не чувствовалось, потому что мы оба, как бы по молчаливому уговору, избегали всяких разговоров на животрепещущие политические темы (дело было ещё до февральской революции), у нас был богатый материал для общения и без них. От него я узнал о судьбе многих друзей и товарищей, которых я давно из виду потерял.

"Как Парвус?" (когда-то учитель и вдохновитель Троцкого) — спросил я. — Наживает двенадцатый миллион, — кратко ответил Троцкий.

Я был у него ещё несколько раз. На политические темы мы почти совсем не беседовали. Однажды он как-то сделал замечание по поводу Плеханова, понятно, не совсем одобрительного свойства. "Значит, он контрреволюционер, папа?" — спросил его одиннадцатилетний сын, стоявший тут же и внимательно прислушивавшийся к нашему разговору. Троцкий улыбнулся и ничего не ответил.

Он предложил мне как-то сыграть в шахматы, повидимому, считая себя хорошим шахматистом. Он обнаружил себя слабым игроком, — проиграл, чем был явно недоволен, и предложил немедленно сыграть другую партию. Выиграв её, он больше играть не пожелал.

В этом маленьком эпизоде характерно не только то, что Троцкий не хотел играть, раз опасность проиграть, т. е. обнаружить превосходство противника, была велика, — но, ещё более, что Троцкий, при своей натуре не мог научиться хорошо играть. Чтобы научиться хорошо играть в шахматы, надо много играть с превосходящими игроками т. е. проигрывать. Троцкий никогда себе этого позволить не мог.

Я уже указал выше, что первая речь Троцкого открыла мне глаза на смысл вкладываемый им в повторяемый всеми "интернационалистами" лозунг "немедленный мир". Мне стало ясно, почему он так хочет немедленного

прекращения военных действий, совершенно независимо от военной карты в данный момент. Для меня только ещё менее ясным стало после этого, почему его симпатии всё-таки явно клонятся к Германии, и почему он с несомненным сочувствием относится к её победам.

Одна его лекция открыла мне глаза на эту сторону вопроса. Нарисовав в этой лекции картину того, как современное капиталистическое общество Европы и даже всего цивилизованного мира, в своём прогрессивном развитии, идёт все к большему и большему объединению, как это развитие неизбежно ведет к уничтожению экономической независимости и самостоятельности отдельных стран, усиливая их взаимную связь, он приходит к правильному выводу, что всё усиливающаяся прогрессивная связь и зависимость между цивилизованными странами, неизбежно влечет за собой и необходимость политического объединения. И всякие попытки отстоять политическую независимость и самостоятельность той или иной страны, — будь то Бельгия, Сербия, Австрия, Франция или Россия — неизбежно будут политически, а, стало быть, и социально, реакционными. И потому всякие разглагольствования об обороне являются в высшей степени вредными и реакционными. "Социал-патриоты" же своими идеями о защите данного отечества сбивают только массы с правильного пути, удерживая их от того, чтобы они поскорее бросали оружие.

Только одна из всех воюющих стран, по размаху своего капиталистического развития ушла так далеко и обладает такими колоссальными экономическими, духовными и культурными ресурсами, что она единственная, может быть, смогла бы, в случае победы, насильственно сверху осуществить это объединение всего цивилизованного мира и, таким образом, сыграть весьма прогрессивную роль. Эта страна — Германия.

Троцкий выражался очень осторожно. Очевидно, он боялся более определённо высказываться, чтобы как-нибудь слишком открыто не обнаружить вытекающее отсюда его германофильское пристрастие. Я с напряжением вслушивался в его речь, чтобы уловить и не потерять основную нить его рассуждений. Сделать прямые выводы из этой идеи и высказать их с полной определённоностью у него не могло быть сильного желания по весьма понятным причинам: он тогда находился в апогее своих надежд осуществить это объединение другим путём, путём революции и восстаний в отдельных странах. Идею германского завоевания он прятал, — может быть, и от самого себя, — на задах своей психики, как резерв, как запасной план на тот случай, если первый путь потерпит крах.

Как опытный стратег, он не мог, конечно, распространяться о перспективах маловероятного, по его мнению, поражению, чтобы не мешать возможной ещё победе. "Метод буржуазии в решении назревших вопросов между государствами, это война, метод пролетариата — это революция", авторитетно заявлял он в своей брошюре "Война и Интернационал". Как "революционер", он предпочитает второй метод, и только, при провале его, соглашается на первый метод, метод завоевания мира деспотической

Германией.

После заключения в Бресте мира с деспотической Германией, очень беззастенчиво давшей почувствовать свою тяжёлую лапу, большевики, некоторое время чувствовали себя немного ошеломлёнными. Не только внешнее, но и внутреннее положение было таково, что отнюдь не располагало большевиков к радужным мыслям на счёт ближайшего будущего. Настроение у новых господ России было довольно мрачное. И вот, когда стали приходиться сведения о том, что Япония, с согласия своих союзников, готовится к нашествию на Советскую Россию, Троцкий в печати заявил: "Если нам будет грозить нашествие империалистов Антанты, мы заключим наступательно-оборонительный союз с Германией (правительство Вильгельма тогда, только что сокрушив Россию, ещё вело победительную войну с державами Согласия), как с более прогрессивной империалистической страной против более реакционной Антанты.

Тщательно скрываемаемая от себя и других резервная идея германского завоевания из психических задворков, начала, таким образом, выступать на передний план и принимать реальный облик.

Возвращаясь, иногда, вместе со мной с лекции, Троцкий удостаивал меня своим вниманием и, покровительственно похлопывая меня по плечу, обращался к сопровождавшей его небольшой свите: "Это мой старый друг, которому надо только месяца два побыть во Франции, чтобы стать хорошим социалистом".

Однажды, воспользовавшись тем, что мы были одни, я стал интервьюировать его относительно некоторых его нью-йоркских сотрудников-"интернационалистов". Был среди них некий Семков, человек малограмотный, но от природы наделённый громким голосом и чрезвычайно "революционной" манерой речи. Он обладал какою-то исключительной способностью без передышки сыпать в течение любого периода времени фразами отборного "революционного" качества, хотя без всякой внутренней связи и какого бы то ни было отношения друг к другу. Как для человека совершенно невежественного, для него совсем не было трудных тем или вопросов, и все ему было понятно и ясно. Его никогда нельзя было застать врасплох. Он всегда и во всякий момент был готов "возражать" по всякому вопросу, по всякому поводу и во всяком месте. Его исступленные выступления производили такое впечатление, как-будто, отправляясь из дому на собрание, он, вместе с папиросами и спичками, наспех и впопыхах набивал карманы также первыми попавшимися фразами из катехизиса Ленина и Троцкого. А придя на собрание, не выслушав даже толком противного оратора, поспешно выворачивал карманы и высыпал весь этот хлам: фразы, изломанные, исковерканные, искрошенные, без начал, без концов, средин, но за то неизменно падавший с тем более оглушительным "революционным" звоном и неизменно доставлявший их автору колоссальный успех в "революционно" настроенной толпе. Его очень ценили в "интернационалистических" сферах, и

он считался незаменимым ценным работником. Вот об этой то звезде я, не без ехидства, спросил Троцкого.

"Что бы там ни было", — отчеканивая своим излюбленным манером слова, ответил Троцкий, ни на минуту не задумавшись, — "когда надо будет, Семков будет там, где надо, а вот N. N. (постоянный оппонент Троцкого на всех собраниях) будет там, где не надо"<sup>14</sup>.

### Глава одиннадцатая.

## Революция в России.

### Мартовские дни 1917 г. — Отъезд Троцкого из Америки. — Задержание его английской властью в Ванкувере.<sup>15</sup>

В марте 1917 года пришли первые вести о русской революции.

Вся Америка, во всех слоях и классах, встретила эти известия с чрезвычайным сочувствием, граничащим с энтузиазмом. Американцы устраивали торжественные митинги, на которых произносились восторженные речи, высказывались лучшие пожелания и посылались приветия русским революционерам.

Понятно, что русская колония первая поспешила устроить несколько митингов. И Троцкий на всех, естественно, был гвоздем собрания. Митинг, иногда, оттягивался на несколько часов, потому что Троцкий, участвовавший одновременно на нескольких митингах, физически не мог успеть всюду. Но публика терпеливо ждала его, жажда услышать слово, бросающее свет на то грандиозное, что происходило в России.

Увы! Всякого, кто не привык довольствоваться одними ораторскими эффектами, кто в речи по такому поводу ищет просвещающего указания на смысл происходящего, — первая речь Троцкого по поводу Русской Революции не могла не расхолодить.

Ни малейшей попытки сделать объективный анализ причин, вызвавших революцию; сил, на которые она может опираться, и возможного хода её. Вместо этого — детальный рецепт технического проведения революции, посылаемый из "Бетховен Голл" в Нью-Йорке через океан в Россию, в ожидании, пока Троцкий сам приедет и наладит всё наилучшим образом. Этому рецепту предпосылаются более или менее эффектные выходки против лиц, составляющих первое Временное Правительство.

Милюков, это тот самый, который красное знамя назвал тряпкой. И это всё. Счастливым был бы тот биограф Милюкова, которому совесть позволила бы не вписывать в его политический пассив ничего другого, кроме этого оскорбления красного знамени.

---

<sup>14</sup>Впоследствии, следя по русским газетам за деятельностью прежних нью-йоркских сподвижников Троцкого, я, действительно имел возможность убедиться, что Семков всегда был "там, где надо", занимая "там" видное положение.

<sup>15</sup> В Галифаксе

Гучков, это тот самый, который благословил Столыпина на свирепые военно-полевые суды (увы, представляющиеся теперь россиянам, живущим под благословенной сенью чрезвычайек, идеалом человеческого правосудия).

Керенский, это только пленник в стане торжествующей буржуазии, которой он нужен лишь в качестве заложника против пролетариата, если он слишком будет зарываться. Не успев вступить во Временное Правительство, этот самый Керенский запятнал себя тем, что в качестве Министра Юстиции, арестовал царского министра Сухомлинова и тем спас его от революционного народа, желавшего расправиться с ним по заслугам, и т. д., и т. п., всё в том же духе.

Как я был очарован подготовленностью, изяществом и красотой первой речи Троцкого в Америке, так я был разочарован этим лубочно-бессодержательным выступлением по поводу Русской Революции.

Закончил он эту свою речь так: "Я горжусь, что принадлежу к тому классу, который бросил зажжённый факел в пороховые погреба всех империалистических держав". Какой именно класс разумел при этом Троцкий — журналист, писатель и сын богатого землевладельца, он слушателям так и не сообщил.

Все последующие многочисленные речи его были в том же духе. Одни более, другие менее талантливы, но все одинаково политически бессодержательны: не до просвещения русских выходцев в Америке, видно, было ему, — он спешил в Россию творить историю. Тем более, что очень многие из этих русских выходцев, шествовавших до сих пор рука об руку с ним по пути непримиримого "интернационализма", с падением царского самодержавия, начали быстро отпадать от него, так как весь их "интернационализм" и зиждился ведь на ненависти к этому царскому самодержавию.

"Что с этим Троцким? Чего он хочет?" — говорили они, в недоумении пожимая плечами.

Наконец, с первой партией эмигрантов Троцкий отправился в Ванкувер<sup>16</sup> в Канаде, чтобы оттуда, через Тихий океан и Японию направиться в Россию. Можно себе представить, каким нескончаемым должно было казаться ему это путешествие. Пока пароход долгие недели будет влечь его по необъятному океану, там вдали, в России революция будет идти своим путём, без его руководства, угрожая забрести, чёрт знает куда.

И, о, ужас! В Ванкувере английское правительство, совершенно, очевидно, не считаясь с великими планами революции, арестовало его, как германского агента. Пароход с другими мелкими сошками, уплыл дальше, а Троцкий остался. Никакие старания американских друзей не помогали, пока не

---

<sup>16</sup>прим. Автор допустил ошибку: Троцкий отправился в Галифакс (где его и арестовали) в Канаде, чтобы оттуда, через Атлантический океан направиться в Россию. 29 апреля Троцкий на датском пароходе "Гелиг Олаф" продолжил свой путь в Россию через Швецию, Финляндию-на Петроград.



вмешался (злая ирония судьбы) Милюков. И Троцкий после долгого томительного сидения в течение нескольких недель в Ванкувере, получил, наконец, возможность двинуться в дальнейший путь, теперь уже без всяких задержек.

Не трудно понять, сколько злобы против английского правительства прибавил в нём этот эпизод.

И кто, — зная эгоцентрический характер Троцкого, — может с уверенностью сказать, что это обстоятельство не сыграло своей роли в ещё большем укреплении германофильской склонности его.

## Глава двенадцатая.

### Троцкий и большевизм.

**Июльское восстание и открытый переход к большевикам. — Троцкий — председатель петроградского Совета. — Подготовка к восстанию. — Переворот. — Троцкий — дипломат. — Троцкий военный министр. — Дело Щастного. — Троцкий фельдмаршал и "революционный" империалист.**

В конце мая 1917 г. и я выехал в Россию. Как только я прибыл в Владивосток, первое, что меня поразило, это всё усиливающееся торжество максимализма. Он всё более и более опутывал революцию по рукам и ногам и парализовал её активность.

Лёгкость, с которой удалось свергнуть царя, вскружила головы не только массам, но и некоторым лидерам, и они думали, что для них нет ничего невозможного. Вместо того, чтобы активной поддержкой укрепить новую власть, они не уставали предъявлять к этой власти, получившей от свергнутого царского правительства пустые сундуки, невыполнимые требования. Они считали, что могут диктовать не только своему правительству, но и правительствам Антанты и Германии с её союзниками.

Большевики не преминули воспользоваться этими настроениями и, не теряя времени, принялись за свою разрушительную работу. Когда я подъезжал к Петрограду (в Вятке, кажется), я прочел в газетах об июльском восстании большевиков. Когда я приехал в Петроград, оно было уже подавлено, но всюду царствовало уныние; все чувствовали, что революции нанесён, тяжёлый удар, от которого она, может быть, не оправится. Большевики трусили и явно опешили. Ленин скрылся, а остальные мелкие сошки все переименовали себя в "интернационалистов" и на перебой уверяли, что это восстание было стихийным актом несознательных масс, не только не руководимых большевиками, но и не встречавшим их сочувствия и осуждаемым ими<sup>17</sup>.

Троцкий в это время ещё не примкнул к большевикам. Когда он приехал в

---

<sup>17</sup>После успешного октябрьского переворота большевики признали, что июльское восстание было делом их рук.

Россию, Ленин, Мартов и другие лидеры "интернационалистических" фракций давно были там, и все места были заняты. Он таскался со своим "складным стулом" и никак не мог найти места, где можно было бы его прочно поставить и эффектно усесться. Он пробовал было даже издавать свою газету "третьего" направления, но из этого ничего не вышло.

Он, как и большевики, открещивался от июльского восстания. Однако он был скомпрометирован настолько, что правительство нашло необходимым арестовать его. Он посылал из тюрьмы в газеты негодующие письма против "социалистического" правительства, позорно и неоправимо запятнавшего себя, арестовав такого социалиста, как Троцкий. Из тюрьмы же он впервые прислал в газеты заявление, что ещё до ареста присоединился к большевикам, и, если до сих пор не сотрудничал в их органе, то это было исключительно по мотивам "личного характера".

Скоро Троцкий был освобождён. Так как Ленин и Зиновьев бежали, то он занял вакантное место и стал лидером большевиков. Это было в августе. С этого момента начинается его возвышение.

В сентябре он был избран председателем Петроградского Совета Рабочих Депутатов, на место Чхеидзе, причём всю кампанию в пользу его избрания вел Павел Деконский, левый с.-р., незадолго до октябрьского большевистского переворота изобличённый в провокации и в том, что он служил в царской охранке.

Первым делом нового Совета под председательством Троцкого было организовать "военно-революционный комитет", после чего большевики начали открыто готовиться к восстанию.

При таких условиях, в открывшемся 7-го октября Совете Российской Республики (пред-парламенте), в котором большевики оказались в меньшинстве, им, естественно, нечего было делать.

На первом собрании Предпарламента Троцкий, в качестве лидера фракции большевиков, выступил с декларацией, в которой мотивировал её уход. Он клеймил Временное Правительство, называя его правительством "народной измены". Он бросал ему обвинение в том, что оно

*"открыто держит курс на костлявую руку голода, которая должка задуть революцию и, в первую очередь, Учредительное Собрание... Революция в опасности. В то время, как войска Вильгельма угрожают Петрограду, правительство Керенского и Коновалова готовится бежать из Петрограда, чтобы превратить Москву в оплот контр-революции... Только сам народ может спасти себя и страну. Мы обращаемся к народу: Да здравствует немедленный честный демократический мир! Вся власть Советам, вся земля народу! Да здравствует Учредительное Собрание!" (Стенографический отчёт заседания предпарламента. "Речь", 8-го октября 1917 г.)*

В это время я был на юге. В конце октября, по личным делам, я опять

приехал в Петроград. Не доезжая до Бологого (около суток езды от Петрограда), я прочел в газетах о совершённом большевиками перевороте. В поезде произошла паника. Почти все пассажиры в страхе высадились в Бологом, и я был одним из немногих, решившихся доехать то Петрограда. Всюду на углах были расклеены огромные плакаты с лозунгами, возвещавшими цели переворота: немедленный демократически мир. Безотложный созыв Учредительного Собрания. Отмена смертной казни<sup>18</sup> и т. д.

Троцкий быстро стал входить во вкус безответственного властителя. Ужо 29-го октября на заседании петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов он показал, как он понимает отмену смертной казни, объявив врагам большевизма "беспощадную месть" и "беспощадный расстрел". Слово "беспощадный" отныне стало одним из наиболее излюбленных в его лексиконе.

В новом правительстве на долю Троцкого, как комиссара по иностранным делам, выпало осуществление "немедленного честного демократического мира", который, — согласно тому, что большевики не уставали до переворота долбить, — полагалось заключить непосредственно с народами воюющих стран, "через головы их империалистических правительств", потому что мирные переговоры с этими правительствами, если верить Ленину, уже являются совершенно недопустимым "соглашательством".

Однако, как только, очутившись у власти, большевики стали лицом к лицу с необходимостью делать реальную политику, они на первых же шагах, вынуждены были с облаков безответственной митинговой декламации спуститься в болото преступного "соглашательства".

Уже в первый день упоения достигнутой властью Ленин окатил своих приверженцев ушатом холодной воды, заявив, что нечего ожидать скорого заключения демократического мира, чем вызвал ропот среди солдат, для которых такой поворот был совершенной неожиданностью.

В изданном в первый же день переворота "декрете о мире" новое правительство обращается не прямо к народам воюющих стран, а "к правительствам и народам".

В то же время по армии Лениным рассылается воззвание, увещающее солдат не дать "контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира" и предлагается им самостоятельно выбирать "тотчас-же уполномоченных для формального вступления в переговоры с неприятелем. Совет Народных Комиссаров дает вам право на это".

Однако, то ли правительства воюющих держав не передали своим народам большевистского "декрета о мире", по другой ли причине, но народы эти убийственно безмолвствовали.

Что же касается правительств, то Антанта совершенно недвусмысленно дала понять, что на сепаратный мир России с Германией она смотрит, как на измену союзникам, и всякие попытки большевиков в этом направлении встретят

---

<sup>18</sup>Правительством Керенского незадолго перед тем была введена смертная казнь за измену на фронте.

с её стороны должно возмездие.

Германское же правительство молчало и совсем, повидимому, не торопилось откликнуться. Оно выжидало того неизбежного момента, когда, в результате вышеуказанного воззвания Ленина, русская армия станет совершенно небоеспособной.

Когда же ясно стало, что Россию уже можно брать голыми руками, германское правительство изъявило согласие на переговоры о перемирии.

Троцкий, смущённый было неожиданным для него результатом, или, скорее, безрезультатностью его дипломатического искусства, воспрянул:

"Если германский император вынужден принимать представителей прапорщика Крыленко и вступить с ними в переговоры, то это значит, что крепко русская революция наступила своим сапогом на грудь всех имущих классов Европы".

Забыв о том, что мир предполагалось заключить "через головы буржуазных правительств". Троцкий захлёбывается от счастья, что "германский кайзер с нами заговорил, как равный с равным" ("Правда", 21-го ноября 1917 г.).

Всё шло, как по маслу:

"Германия и Австрия согласны на ведение переговоров о перемирии на основе советской формулы".

Восхищённым взорам Троцкого уже рисовались упоительные картины, как "сидя с ними (с правительствами Германии и Австрии) за одним столом, мы будем ставить им категорические вопросы, не допуская никаких увёрток... Под влиянием низов германское и австрийское правительства уже согласились сесть на скамью подсудимых! Будьте уверены, товарищи, что прокурор, в лице русской революционной делегации, окажется на своём месте" ("Правда", 19 ноября 1917 г.).

Как только большевистские делегаты, сняв с глаз наложенные на них немцами повязки, подошли к тому столу, за которым сидят опытные германские дипломаты, генерал Гофман грозным солдатским окриком сразу вывел их из состояния сладостного гипноза, навеянного на них красивыми речами Троцкого, и дал им совершенно недвусмысленно понять, что они не равные, а побеждённые, и должны беспрекословно и без митинговых разглагольствований принять предписываемые им условия мира.

А условия эти были так тяжки и так безмерно унижительны, что даже большевистская делегация не решалась подписать их. Но что было теперь делать? Думать о сопротивлении было уже поздно: приказами и воззваниями о повзводном и поротном перемирии армия была окончательно разложена.

Троцкий, однако, не унывал и предложил, по его словам, "небывалый ещё в мировой истории исход: "Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора". Большевистское правительство "не желает воевать с народом Германии... и вкладывает своё оружие в ножны"... "Российским войскам отдается приказ о полной демобилизации по всем линиям фронта"... "Защита его вверяется германским рабочим".

Небывалый в мировой истории жест был сделан. Что, в самом деле, значит гибель миллионов людей, целой страны, раз жест красив?

Но прозаически беспощадные немцы не дали ему даже эффектно закончить этот жест: перемирие кончилось, — заявили они, — и, раз мир не заключён, немецкие войска продолжают наступление. Немцы берут город за городом, не встречая никакого сопротивления. Большевистские комиссары, поручив защиту русского "социалистического отечества" немецким рабочим (одетым в солдатские мундиры), первые показывают пятки.

Пришлось, не закончив жеста, вернуться. Троцкий, не читая (опять эффектный жест!), подписывает условия мира, ещё гораздо более тяжкие и унижительные, чем первые.

Дипломатическая карьера Троцкого закончилась. Короткое время он был ещё продовольственным диктатором, успел объявить "беспощадную" войну мешочникам и скоро сделался военным министром.

Одновременно с принятием условий "архитяжкого мира" (слова Ленина) большевики лихорадочно берутся за организацию "Красной Социалистической Армии". Сначала она носит характер добровольческой, и на службу принимаются со строгим разбором. Впоследствии, с расширением военных операций, она превращается в обычную буржуазную армию с мобилизацией всего способного к ношению оружия населения и с суровыми карами для всех, уклоняющихся от военных обязанностей, к какому бы классу они не принадлежали.

С назначением Троцкого военным министром это превращение идёт ускоренным темпом. Выборы офицеров, всякие митинги солдат и "повзводные" обсуждения боевых операций и действий начальства (не говоря уже о "братании" и пр.), при помощи которых большевики так успешно разрушали армию Временного Правительства, — все это теперь строго преследуется. Вводится самая суровая дисциплина. К ненадёжным командирам приставляются политические комиссары, зорко следящие за каждым их шагом<sup>19</sup>. Семьи находящихся на фронте офицеров держатся в качестве заложников и подвергаются суровым карам, если провинившийся офицер оказывается вне пределов досягаемости.

Керенский, введший смертную казнь за измену на фронте, не подписал ни одного смертного приговора. Троцкий, отменивший смертную казнь, в применении "беспощадного расстрела" проявил ненасытность, прямо патологическую. К расстрелу он прибегает не только за измену "социалистическому отечеству", но и из личной мести.

В этом отношении одну из самых мрачных страниц его карьеры составляет дело капитана Щастного, который был казнён в личную угодку Троцкому тогда, когда отменённая большевиками смертная казнь ещё не была восстановлена.

---

<sup>19</sup> Ещё до захвата власти Троцкий говорил: "Мы приставим револьвер к виску царских генералов и заставим их служить революции".

Капитан Щастный был назначен большевиками начальником морских сил Балтийского моря. Он спас от немцев балтийский флот, находившейся в Гельсингфорсе, с большим трудом проведя его через льды до Кронштадта и устья Невы. Он пользовался большой популярностью среди матросов, и в виду своих крупных заслуг перед большевистским правительством, держал себя более независимо, чем это мог терпеть Троцкий; и его необходимо было устранить. Никакого определённого обвинения обвинителям не удалось формулировать. Ни одного свидетеля защиты не были на суд, и письменные показания неявившихся свидетелей (большевистских же комиссаров) не были допущены к прочтению. Единственным свидетелем был "свидетель" обвинения Троцкий, который произнёс такую речь, что обвинителю Крыленко ничего не оставалось делать.

"Я считаю, что перед вами — опасный государственный преступник, который должен быть наказан беспощадно", заявил Троцкий. И семь покорных "судей" исполнили приказ. Видные большевики, в которых ещё сохранилась человеческая искра, были чрезвычайно взволнованы этим политическим убийством. Приговор произвел удручающее впечатление в партийных кругах и в матросских массах.

Взяв в свои руки руководство военными делами, Троцкий, наконец, нащупал свою настоящую профессию, в которой все его таланты и способности могли проявиться и развернуться во всю ширь: неумолимая "логика" (принявшая форму военной дисциплины), железная решительность и непреклонная воля, не останавливающаяся ни перед какими сентиментальными соображениями гуманности; ненасытное честолюбие и безмерная самоуверенность, специфическое ораторское искусство, и пр. и пр.

Организация побед "социалистического отечества" скоро целиком перешла в его руки. Он стал самой популярной фигурой в глазах всех, кто в торжестве большевистского коммунизма видел начало новой эры всеобщего счастья.

Троцкий стал большевистским фельдмаршалом, обнаружившим необыкновенные стратегические дарования, если верить отзывам знатоков военного дела даже из лагеря противников.

В своём специальном поезде, обставленном с невероятной роскошью и удобствами<sup>20</sup>, он мчится с одного конца России в другой, смотря по тому, где положение настолько критическое, что требуется его личное немедленное присутствие. И горе тому, кто окажется виновником малейшей задержки в пути.

Его манеры, выступления и приёмы действия стали предметом подражания даже со стороны генералов из армии Деникина и Врангеля.

В первой главе мною было указано, что индивидуальность Троцкого надо искать в его воле. Так как теперь вся воля его находит своё проявление в военном деле, то, естественно, что "революция" в этот период сводится для него к организации побед, которая становится самоцелью, независимо от того, к

---

<sup>20</sup> Там имеется даже хорошо оборудованная типография, всегда готовая в пути к его услугам.

чему она ведет.

Когда нет внутренних врагов, он делает диверсию на врагов внешних. Он простирает свои руки на социалистическую Грузию, на Армению, залезает в Персию, мечтает чуть ли не о завоевании всего мира. Для этого надо всю Россию превратить в один сплошной военный лагерь. Он милитаризует железные дороги; и, при помощи милитаризации труда во всей промышленности и земледелии, он мечтает превратить всю Россию в одно обширное аракчеевское военное поселение со строгим военным режимом, где все по сигналу встают, по сигналу едят, по сигналу идут на работу, по сигналу ложатся, по сигналу выходят на парады для знатных иностранцев и по сигналу славят своё идеальное правительство.

Когда такое счастье окончательно стало неспособно изголодавшемуся русскому народу, и когда "краса и гордость русской революции"<sup>21</sup>, кронштадтские матросы стали во главе восстания против деспотизма коммунистов во имя восстановления советской власти, Троцкий был назначен диктатором с неограниченными полномочиями для подавления "бунта" верноподданных. При помощи китайских и других иноземных войск<sup>22</sup> он потопил восстание в море крови.

### **Заключение.**

Таков удивительный путь, пройденный Бронштейном. Юноша, самоотверженно и бесстрашно отдающий весь богатый и неистощимый запас силы, энергии и таланта, которыми природа так щедро одарила его, на борьбу с царским деспотизмом, под скромным именем Львова, мечтающий стать русским Лассалем, — достигнув зрелости, превращается в свирепого диктатора, безжалостно заковывающего в цепи самого тяжёлого рабства население своей родины, готового, не моргнув глазом, погубить миллионы людей и даже целую страну, ради исключительной цели сохранения во что бы то ни стало власти в руках кучки беззастенчивых авантюристов<sup>23</sup> и гордо позирующего в роли всемирного жандарма, "крепко наступившего сапогом на грудь" угнетённых народов.

В оправдание Троцкого и к стыду человечества надо однако признать, что внушающие в каждом морально здоровом человеке отвращение качества Троцкого ни в каком случае нельзя считать явлением хоть сколько-нибудь исключительным в теперешней России. Если-бы это было так, Троцкий не занял бы того положения, которое он занимает. Он никоим образом не стал бы героем нашего времени в России, если бы отрицательные качества,

---

<sup>21</sup>Так с гордостью назвал матросов Троцкий в июле 1917 г.

<sup>22</sup>Красноармейцы, по секретным донесениям большевиков, оказались ненадёжными.

<sup>23</sup>Одно время, когда положение большевиков было очень шатко, Троцкий заявил: "Мы, может быть, уйдем, но тогда мы так хлопнем дверью, что мир содрогнется".

выдвинувшие его вперёд, были исключительным свойством его психики. Эта особенность его психики заключается не в том, что он более жесток, чем другие жестокие насильники и изуверы, — как большевистские, так и не большевистские, — а в том, что весь психический комплекс, относящейся к области симпатических переживаний, ему совершенно чужд, как чуждо слепому всё, что относится к области зрительных впечатлений.

В психике Троцкого нет элементов, соответствующих понятиям жестокости и человечности; на их месте — пробел. Чувство симпатии к людям, не как к средству собственного удовлетворения, а как к носителям самостоятельных чувств, стремлений, желаний, у него совершенно отсутствует. Люди для него, это — лишь единицы, сотни, тысячи, сотни тысяч единиц, при помощи которых, можно дать наибольшее питание своему *Wille zur Macht*. А как это осуществляется: путём ли доставления этим "*Vielen, allzuvielen*" условий райского жилья или путём безжалостного их избиения и истребления, это — совершенно несущественная подробность и диктуется не симпатиями или антипатиями, а стечением внешних обстоятельств в данный момент.

Троцкий нравственно слеп. Это у него природный, так сказать, физиологический дефект; то, что по-английски называется *moral insanity* — нравственное помешательство. Психический орган симпатии атрофировался у него в утробе матери, как атрофируются там физические органы, вследствие особых ненормальных условий внутриутробного положения. До того, как Троцкий занял своё теперешнее положение, это уродство не замечалось, как мы долго не замечаем природной слепоты у младенца или паралича у ребёнка, которому, по подрасту, ещё не полагается ходить.

Каковы же те условия, которые способствовали проявлению и вызвали широкий спрос на психические качества, составляющие основную сущность индивидуальности Троцкого? Едва успевшая выйти из крепостного состояния, Россия, с её невежественным и непривыкшим к самостоятельности населением, вследствие безумной политики Романовых, до войны была уже на краю социально-экономического и политического краха. Война явилась лишь последним толчком. Вся предыдущая история России привела к тому, что она оказалась совершенно неподготовленной к тому, чтобы выдержать вызванную войною гигантскую встряску всех основ. И она, естественно, первая поддалась и быстро стала распадаться. Давно прогнившие социальные скрепы отвалились. Революция была поставлена историей на очередь дня. Падение дисциплины и повиновение старым, сдерживающим политическим, социальным и моральным нормам сделали её неизбежной. Но начатое войною разрушение старых основ материального существования не могло быть остановлено революцией. Война, давшая импульс революции, менее всего могла способствовать накоплению необходимых для нового строительства и без того скудных творческих сил, как материальных, так и духовных. Таким образом открылась эпоха затяжного разрушения без соответствующего положительного строительства.



И, как в эпоху общественного подъёма выступают наружу, кто их знает откуда берущиеся симпатические общественные инстинкты, так в период упадка, разложения выступают наружу, как грибы после дождя, низменные общественные (или лучше, антиобщественные) инстинкты.

И те и другие инстинкты заложены во всех людях, в одних в одной пропорции, в других в другой. Беззаветная, забывающая себя любовь к ближним и животный эгоизм, попирающий всё и всех ради узких интересов своего собственного тела; героическая преданность далёкому общему делу и бесшабашная эксплуатация общества в исключительных интересах своей собственной личности; революционный энтузиазм и контр-революционное изуверство, словом, доктор Джекил и мистер Хайд живут рядом в одной и той же душе. В самоотверженных революционных действиях принимают участие те же массы, которые раньше активно выступали в еврейских и других погромах. Эти же самые массы принимают потом участие в контр-революционных (большевистских и небольшевистских) эксцессах и зверствах. Вчерашние бескорыстнейшие общественные деятели сегодня выступают, как беззастенчивые циничные спекулянты и т. д. и т. д.

Революция вспыхнула в России после того, как подорванные материальные ресурсы были окончательно разрушены трёхлетней войной; после того, как длительная антиобщественная практика, неизбежно связанная с войною, успела уже вызвать атрофию особенно нужных теперь симпатических общественных инстинктов и расчистила почву для развития заложенных во всех, и до времени находившихся под спудом, инстинктов антиобщественных, эгоистических.

Естественно, что во главе возникшего при таких условиях общественного движения скоро стали люди, быстрее и основательнее других освободившиеся от сдерживающего влияния разрушенных политических, социальных и моральных норм. Но, чем более человек был свободен от этих норм раньше, тем с большей быстротой и основательностью он освобождается от этих препятствующих "свободному" проявлению личности "устарелых" пут теперь. И потому понятно, что на авансцену общественного действия выступают те, у которых эти нормативные "предрассудки", — "мелкобуржуазные", или как они там ещё иначе называются, — сохранились в минимальных размерах, или, ещё более, те, которые и раньше были свободны от них. Убийцы, грабители, спекулянты, предатели, шпионы, шулера, торговцы товаром, сутенёры, садисты, эпилептики и т. д. и т. д., — все эти низы, лишённые задерживающих центров, неизбежно становятся во главе общества и ревниво гонят, под видом "интеллигентов", всех, кто хоть сколько-нибудь сохранил в себе общественную совесть и в ком не совсем искоренена склонность ко всякого рода ненавистным "предрассудкам".

Вызванное разрушением производительных основ страны господство этих паразитических непроизводительных низов, окрашенное в цвет чаяний трудящихся классов и есть большевизм.

Пока "интеллигенты", т. е. люди, в которых ещё не прекратили своего действия нормативные задерживающие аппараты: чувство ответственности перед законом (все равно, старым или новым), перед нравственными предписаниями, и пр., — пока эти "интеллигенты", под влиянием неискоренимого уважения к чужой личности и её благополучию, колеблются, взвешивают и не дерзают на решительные действия, — люди, от природы свободные от всех этих нормативных задержек, естественно становятся во главе общественного действия. А талантливейший и честолюбивейший из них Троцкий, по необходимости, делается общественным кумиром и народным героем.

Поэтому понятно, что, хотя в историю большевизм, по справедливости, войдет с именем Ленина, как отца и пророка его, для широкой массы современников торжествующий большевизм (и покуда он торжествует) естественно связывается с именем Троцкого. Ленин олицетворяет собою теорию, идею большевизма (даже большевизм имеет свою идею), Троцкий — его практику.

Для истории, интересующейся сущностью исторических явлений, сокровенными пружинами общественных движений, выступит на первый план Ленин. Эта история пройдет мимо Троцкого, как несущественного, хотя эффектного эпизода.

С другой стороны, историк-бытописатель, который когда-либо пожелает воспроизвести переживаемую теперь в России эпоху, в драматическом действии дать цельную, живую, действенную картину её, — такой историк пройдет мимо Ленина, тогда как Троцкий для него явится незаменимой моделью, как яркий выразитель эпохи большевистского разложения страны.

Современники, поскольку они являются участниками и объектами большевистских экспериментов, относятся к Ленину и Троцкому так же, как указанный историк-бытописатель: Ленина абстрактно уважают и почитают одни, передь ним питают благоговейный ужас другие. Троцкого одни любят до самозабвения, как вождя и бойца, другие ненавидят, как кровожадного изверга. Для тех и других он — герой нашего времени.